

НЕВИННАЯ ДЛЯ ДЬЯВОЛА

Она обещана Богу. Он пришёл за ней первым.

18+

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

тёмный роман · dark romance

MRS. RED

18+

MRS. RED

Невинная для дьявола

«Автор»

2026

RED M.

Невинная для дьявола / М. RED — «Автор», 2026

Мой отец - прокурор. Гроза этого города, лицо закона. Я стал его дьяволом. Говорят, сын прокурора станет прокурором. А я взял этот город за горло - кровью, не мантией. Ты поймёшь причину, когда узнаешь, что он со мной сделал. ЗВЕРЬ Я дьявол этого города и держу его в кулаке. Всю жизнь я умею одно - заглушать зверя внутри. Виски. Таблетки. Женщины. Лишь бы ничего не чувствовать. А потом я увидел её. Чистую. Светлую. Не для таких, как я. Впервые я хочу не взять - сберечь. И не знаю, хватит ли сил уберечь её от самого себя. СВЕТ Я выросла за монастырской стеной и через месяц должна была отдать жизнь Богу. Я ничего не знала о любви - пока не встретила его. Мужчину с глазами цвета виски, которого боится весь город. Мне страшно рядом с ним. За ним тянется кровь. Но рядом с ним я впервые живая. И чем ближе постриг, тем труднее понять, кому принадлежит моё сердце. Ему или Богу. Он поклялся не сломать её. Она поверила в хорошего человека под его тьмой. Но прошлое уже идёт по их следу.

© RED M., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Глава 1. Дан и Ева	7
Глава 2. Новое имя	19
Глава 3. Колокольня	24
Глава 4. Благодетель	31
Глава 5. Ассоль	38
Глава 6. Перстень власти	46
Глава 7. Фотография	51
Гл	56
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Невинная для дьявола

Глава

Невинная для дьявола
MRS.RED

**Мой отец — прокурор. Гроза этого города, лицо закона.
Я стал его дьяволом.**

Говорят, сын прокурора станет прокурором. А я взял этот город за горло — кровью, не мантией. У меня была на то причина. Ты поймёшь её, когда узнаешь, что он со мной сделал.

ЗВЕРЬ

Я дьявол этого города. И держу его в кулаке. Мне не отказывают дважды.

Во мне живёт зверь, и всю жизнь я умею только одно — заглушать его. Виски. Таблетки. Женщины. Много женщин. Всё, что помогает дотянуть до утра и ничего не чувствовать.

А потом я увидел её.

Чистую. Светлую. Не для таких, как я.

Впервые я хочу не взять.

Хочу сберечь.

И впервые не знаю, хватит ли мне сил уберечь её от самого себя.

СВЕТ

Я выросла за монастырской стеной и через месяц должна была отдать свою жизнь Богу.

Я почти ничего не знала о мире мужчин, о любви и даже о собственном сердце — пока не встретила его.

Мужчину с глазами цвета виски, которого боится весь город.

Мне страшно рядом с ним. За ним тянется кровь. Он скрывает больше, чем говорит.

Но рядом с ним я впервые чувствую себя живой.

И чем ближе день моего пострига, тем труднее понять, кому на самом деле принадлежит моё сердце. Ему или Богу.

Он поклялся никогда её не сломать.

Она поверила, что под всей его тьмой живёт хороший человек.

Но прошлое уже идёт по их следу.

И правда, которую они ещё не знают друг о друге, способна разрушить их раньше, чем Дан успеет спасти Милу — от своего мира и от самого себя.

Тёмный мафия-роман. 18+

Книга содержит сцены сексуального характера и тяжёлые темы. 18+. Полное предупреждение о содержании и информация о правах — в конце книги.

Содержание

Глава 1. Дан и Ева

Глава 2. Новое имя

Глава 3. Колокольня

Глава 4. Благодетель

Глава 5. Ассоль

Глава 6. Перстень власти

- Глава 7. Фотография
- Глава 8. Теряя себя
- Глава 9. Сын прокурора — вор
- Глава 10. Темнота
- Глава 11. Тепло его рук
- Глава 12. Пробуждение
- Глава 13. Шторм
- Глава 14. Ты моя
- Глава 15. Утро
- Глава 16. Ева
- Глава 17. Отец Илларион
- Глава 18. Мой нежный цветочек
- Глава 19. Разбитая вера
- Глава 20. Дядя
- Глава 21. Три часа
- Глава 22. Дом на берегу
- Глава 23. Их утро
- Глава 24. Спаси меня
- Глава 25. Море
- Глава 26. Вечер
- Глава 27. Папка
- Глава 28. Первый раз
- Глава 29. Семья
- Глава 30. Телефон
- Глава 31. Драгомир Вукотич
- Глава 32. Сюрприз
- Глава 33. Щенок
- Глава 34. Раскол
- Глава 35. Возвращение зверя
- Глава 36. Прокурор
- Глава 37. Одна кровь
- Глава 38. Полночь
- Глава 39. Свобода
- Глава 40. С чистого листа
- Глава 41. Мама
- Глава 42. Новая жизнь
- Эпилог. День и ночь

Глава 1. Дан и Ева

Церковь стояла высоко в горах, на скалах, отрешённая от мира, и колокол на ней молчал уже третий месяц.

Машина осталась за поворотом, там, где старая олива роняла тень на дорогу. Марко заглушил мотор, не спрашивая, и остался за рулём, как оставался всегда, а Дан дальше пошёл пешком. Так он делал каждый раз. Машину такую в этих местах знали многие, и знали, чья она, а ему не нужно было, чтобы кто-то видел, куда он ходит и зачем. Он сам не хотел этого видеть. Но ноги несли его сюда третью неделю подряд, и он перестал спорить с собой где-то на второй.

Гравий во дворе был белый, выжженный солнцем, и хрустел под подошвами его ботинок. Чёрный костюм он не снял даже в такую жару. В нём было привычно. В нём он был собой, тем, кем стал, а не тем, кем родился, и тёмная ткань под Адриатическим солнцем держала его в форме, не давала расплавиться в этом свете, которого он сторонился.

Он остановился у каменной ограды заднего двора, там, где виноградная лоза оплела старую решётку и давала укрытие. Отсюда было видно всё.

Она сидела на земле.

Не на скамье, не на ступенях, а прямо на утопанной земле у сарая, подобрав под себя ноги, и на коленях у неё лежал ягнёнок. Совсем маленький, суточный, из тех, что родились этой весной поздно и теряли матерей. Мила держала его в изгибе локтя и поила из бутылки, и что-то говорила ему тихо, одними губами. Слов он не слышал. Он видел, как она их произносит.

Волосы у неё были распущены.

Он редко заставлял их такими. Обычно она убирала их, заплетала, прятала под платок, как положено той, кто готовится оставить мир. Но сейчас, во дворе, одна, думая, что никто не смотрит, она их распустила, и они падали ей на плечи, на спину, почти до самой земли, и солнце входило в них насквозь.

Тот же цвет.

Дан поймал себя на этой мысли, и она ему не понравилась. Тот самый цвет, что он видел каждое утро в зеркале, в собственных глазах, которые мать когда-то называла волчьими, а Драган золотыми, а все прочие вообще никак не называли, потому что боялись смотреть в них дольше секунды. Цвет виски. Цвет того, что он пил, чтобы гасить в себе то, что нельзя погасить. В нём этот цвет горел темнотой. В ней он лежал на плечах и светился.

И тело начало.

Оно всегда начинало не вовремя. Жар поднялся откуда-то снизу, тяжёлый, знакомый, тот, что не имел ничего общего с желанием нормального человека. Он положил ладонь на каменную ограду, камень был горячим, но это не помогло.

Он полез в карман. Достал блистер, выдавил на ладонь три таблетки, закинул в рот, проглотил всухую. Горло свело. Он ждал, вцепившись в камень, ждал, когда подействует, когда отпустит, как отпускало всегда, пусть ненадолго, пусть на час.

Сегодня не отпускало.

Он смотрел на изгиб её шеи, когда она склонялась над ягнёнком, на босую ступню, выглядывавшую из-под подола простого серого платья, и три таблетки лежали в нём мёртвым грузом, но не делали ничего.

Она подняла голову. Не в его сторону, просто к небу, к колокольне, и замерла на полувздохе, прислушиваясь к чему-то. И он увидел её лицо целиком, впервые за этот приход, и в груди заболело сильнее, чем между ног.

Он не мог к ней подойти.

Вот в чём была вся мерзость положения. Дан Радич мог войти в любой дом этого города без приглашения. Люди вставали прежде, чем он успевал потребовать. Отказов ему не произ-

носили — по крайней мере, дважды. А он стоял за оградой, как вор, и не мог сделать десяти шагов через двор. Потому что она была чистой. Потому что он знал: если подойдёт, если она поднимет на него эти глаза и он заговорит, он её испачкает. Одним своим присутствием. Тем, что он есть.

Дан оттолкнулся от ограды.

Развернулся и пошёл прочь, быстро, к концу почти бегом, гравий летел из-под ботинок, и олива метнулась навстречу, он рванул дверь машины так, что петли взвыли.

Марко сидел за рулём, руки на баранке, взгляд вперёд.

Дан рухнул на сиденье. Дёрнул узел галстука, ослабил, рванул верхнюю пуговицу так, что она отлетела куда-то под ноги. Воздуха не хватало. Костюм, который держал его в форме, теперь сдавливал горло. И член, твёрдый, налитый, рвался наружу.

— К Еве, — сказал он. — Быстро.

Марко на секунду скосил на него глаза. Одну секунду, не больше. Он видел босса в разных состояниях, но это участилось в последние недели, и не заметить он не мог. Но ничего не сказал. Марко знал, когда молчать. За это Дан и держал его рядом дольше всех.

Мотор взял с места так, что город смазался за стеклом.

* * *

Ева жила высоко, в старом доме над заливом, где с террасы было видно, как корабли входят в бухту.

Когда он вошёл, она стояла у зеркала в прихожей. Уже одетая, уже собранная куда-то, в чём-то тёмном, что облегалo её так, как облегалo только вещь, сшитая на заказ под единственное тело. Ей было пятьдесят пять. Двадцать лет разницы между ними лежали где угодно, только не на ней. Кожа гладкая, тёплого оттенка, ухоженная годами и деньгами до того состояния, когда возраст перестаёт читаться и остаётся одна стать. Тёмные волосы, густые, тяжёлые, уложены со скучающей небрежностью женщины, которая знает себе цену до последней копейки. А глаза — огромные, зелёные; она подводила и рисовала их так мастерски, что оторвать взгляд было почти невозможно. Одними этими глазами она волновала сердца и тела не одного мужчины.

Она была красива той красотой, что опаснее молодой. Женщина, которая похоронила мужа, пережила то, о чём не говорила вслух, и вышла из этого отточенной, как клинок. Тело, при виде которого мужчины вдвое моложе теряли нить разговора. Дан знал в этом городе немало красивых женщин. Но ни одна не мучила его рассудок так, как эта, гоdivшаяся ему в матери и не имевшая с материнским ничего общего. Он, гурман, прошедший сотни женщин и ни на одной не задержавшийся, рядом с ней терял голову до темноты в глазах. Он не любил её — нет. Он ею болел. Ева была его слабостью — не сердца, тела. Его бес узнавал её с порога и поднимал голову раньше, чем она успевала улыбнуться. Он знал её тело наизусть — как она выгибается, чего просит, чем берёт его так, как не умела ни одна, — и это держало крепче любой любви. Стоило ей позвать — и он шёл, в любой час, через весь город, сквозь стиснутые зубы и ненависть к самому себе за то, что идёт. Сказать ей «нет» он не умел — ни разу за два года, и она это знала, и пользовалась этим без стыда. Такую зависимость не выжечь и не забыть — такая ждёт своего часа. Два года она была в его жизни, и все два года он не спешил называть это словом.

Дверь он не закрыл тихо. Створка ударила о стену, грохот прошёл по всему дому, и Ева обернулась. Она увидела его в зеркале раньше, чем повернулась. Увидела, как он идёт на неё через прихожую, не останавливаясь, и по одному его лицу, по загнанному дыханию, по глазам, которые она уже такими видела, всё поняла.

— Дан. — Она опустила руку, не закончив с серьгой. — Ты что тут делаешь? Мы же не договаривались.

Он не ответил. Он взял её за руку, молча, и потянул за собой к лестнице.

— У меня встреча через час, — сказала она, и это была правда, но правда уже уходила из её голоса, таяла, теряла вес с каждой ступенью, на которую он её вёл. — Я не могу...

— Ты мне нужна. — Он не обернулся. — Сейчас.

Она поднималась за ним. Не упиралась, не тянула руку назад. Поднималась, глядя ему в спину, в разворот плеч под чёрным пиджаком, и то, куда она собиралась, и зачем, и с кем, осталось где-то внизу, у зеркала, вместе с недопоправленной серьгой.

Он завёл её в комнату и закрыл дверь. Взял её за подбородок. Пальцы вдавились в кожу, запрокинули ей голову. Он стоял слишком близко, и от него пахло виски и той яростью, что он привёз через весь город. Глаза его, всегда цвета старого виски, потемнели, зрачок съел янтарь почти целиком. И в этих глазах не было её.

Ева видела это ясно, всем своим умом, которого он никогда её не лишал. Он смотрел на неё и хотел не её.

— Смотри на меня, — сказал он, почти нежно в своей жёсткости.

Она открыла рот. Секунда сопротивления, привычка, всегда длившаяся ровно секунду.

— Дан, у меня встреча...

Он толкнул её на кровать. Ева упала на спину, платье задралось до бёдер. Она не поправила его — только смотрела снизу и ждала.

— Раздвинь ноги.

Она послушалась мгновенно. Развела бёдра шире, открываясь ему. Он опустился коленом на край кровати, навис над ней тяжестью. Ладонь легла ей сзади на шею, пальцы зарылись в волосы у корней, сжали властно, по-хозяйски. Другой рукой он задрал платье до талии и нырнул под тонкое кружево.

Пальцы скользнули по набухшим влажным складкам, и Ева застонала, протяжно, не в силах удержать этот звук. Тело выгнулось навстречу его руке.

— Уже мокрая, — выдохнул он ей в губы, медленно ведя пальцами по её киске, закрыв глаза. — Всегда готова для меня. Потому я и возвращаюсь.

Она посмотрела ему прямо в глаза, и голос её дрожал от желания, но слова остались её, ровными, взрослыми, без мольбы.

— Потому что только ты умеешь меня так ломать. И только я могу выдержать всего тебя. Я твоя, Дан. Даже когда ты приходишь вот таким, я открываюсь и жду, когда ты меня трахнешь.

Он сорвал с неё кружево одним движением. Ткань треснула жалобно.

Он замер. Стоял над ней, глядя на то, что открыл. Она лежала раскрытая, мокрая, с разведёнными бёдрами — и ждала. А он не трогал. Держал паузу, и эта пауза жгла её хуже рук.

Ева потянулась к нему — он перехватил её запястье, вдавил обратно в постель.

— Не двигайся.

Он отступил. Медленно снял пиджак, рванул рубашку и сел в глубокое кресло напротив кровати, расставив ноги широко, и не сводил с неё глаз.

— Ты знаешь, что делать. Действуй.

Ева приподнялась, дрожа.

Это была его слабость. За всей его яростью, за тем, что гнало его через полгорода, пряталась эта извращённая нотка, и он не стыдился её ни перед собой, ни перед ней. Он любил смотреть. Любил, когда женщина сама садилась перед ним и своими руками открывала ему то, что он мог бы взять силой в любую секунду. Ева знала это. За два года она выучила его слабости, как он выучил её.

Она медленно задрала платье выше, открылась вся и села на край кровати прямо перед ним, разведя колени так широко, как только могла.

Дан, не отрывая от неё глаз, потянулся к столику, налил виски, заглотнул одним глотком. Голос его упал ещё ниже.

— Действуй. — Он поставил стакан на столик, продолжая смотреть. — Я сказал.

Ева не отводила взгляда. Её пальцы скользнули вниз, раздвинули нежные влажные губы пизды, открыли ему всё, розовое, пульсирующее, перед его жадными глазами.

— Да, — прорычал он, глядя на это с почти болезненным голодом. — Вот это я и хотел видеть. Мою женщину, которая раскрывается только для меня.

Он расстегнул ремень. Тяжёлый металл лязгнул, молния пошла вниз с медленным угрожающим звуком. Обхватив член большой ладонью, он повёл рукой от основания вверх к головке, не сводя глаз с её раскрытой киски.

— Трахай себя. Я хочу смотреть.

Ева запустила в себя два пальца, глубоко, задвигала ими во влажном чавкающем ритме. Стоны её становились громче, тело извивалось, но взгляд она держала на нём. Только на нём. На его лице, на его руке, грубо ласкавшей налитой ствол.

— На меня смотри, когда берёшь себя, — сорвался он вдруг на рык.

Она ускорила, пальцы ныряли глубже, большой тёр клитор, и волна поднялась в ней слишком быстро.

— Я сейчас кончу...

— Не смей, — жёстко отрезал он. — Вытащи.

Ева всхлипнула от оборванного удовольствия, но послушно вытащила блестящие пальцы. Дан встал. Набрал виски в рот из горлышка, подошёл к ней, к её широко разведённым ногам, опустился на колени. Лицо на уровне её раскрытого тела, рот, полный виски, — и он замер, глядя ей в глаза, так близко, что она чувствовала холод его дыхания на горячей коже прежде, чем он разжал губы.

Он дал виски стечь медленно. Тонкая ледяная струя на раскалённую, набухшую плоть — и Ева закричала, сжала бёдра, но он раздвинул их обратно, жёстко, одной рукой. Виски текло по нежным складкам, ледяное на горячем, мешалось с её соками, и каждая капля прожигала насквозь.

Он наклонился ниже. Языком. Медленно, по всей длине, слизывая виски вместе с её вкусом. Ева вцепилась ему в волосы, и стон сорвался в хрип, потому что это было слишком — холод, жар, его рот — всё сразу, без паузы.

Он поднял голову. Провёл тыльной стороной ладони по мокрым губам. Два пальца вошли глубоко, без пощады, большой лёг на пульсирующий клитор, задвигался быстрыми жёсткими кругами. Виски жгло, мешаясь с соками, и каждое движение делалось острее, грязнее, невыносимее.

Ева откинула голову, оперлась на локти. Грудь тяжело вздымалась, соски проступали сквозь тонкую ткань.

— Дан... пожалуйста. Я хочу кончить...

— Нет, — прорычал он, не сбавляя темпа. — Пока не разрешу, не смей.

Она сжала бёдра вокруг его руки, тело билось в напряжении, но она сдерживалась, и это её убивало.

Он усмехнулся. Вытащил пальцы, потянулся к бутылке, набрал виски снова — на этот раз больше, полный рот, — и опустился между её разведённых ног снова.

Вылил медленно. Обильнее, чем в первый раз. Холодная тяжёлая струя на раскалённую распухшую плоть, ледяное на горячем, — Ева задохнулась, стиснула простыню обеими руками.

— Работай пиздой, — бросил он глухо, сквозь стиснутые зубы. — Сжимайся. Медленно.

Ева посмотрела на него сквозь мокрые ресницы. И подчинилась мгновенно, с той осознанной покорностью, от которой его вело. Мышцы внутри неё сжались, отпустили, сжались снова — медленно, ритмично, как он приказал.

При каждом сокращении из неё выталкивало виски, горячее от её тела, смешанное с её вкусом, и оно текло по ней — и он не мог оторвать глаз. Она работала на него, раскрытая,

смотрела ему в лицо, и на губах её дрожала та дерзкая усмешка, которую он не мог вышибить из неё ни грубостью, ни лаской.

— Только для тебя, — выдохнула она.

— Ещё, — прорычал он. — Не останавливайся.

Она ускорила. Сокращения стали резче, глубже, и он видел, как она пульсирует, сжимается вокруг пустоты, мокрая, открытая, его. Грязно и сладко до стога.

Его качнуло вперёд. Три пальца вошли в неё одним движением, до костяшек, а язык лёг на клитор — горячий, жёсткий, точный. Он работал ртом и рукой, пальцы загибались внутри, находя то самое место, а язык не давал ей ни секунды покоя.

Тело выгнулось, ноги сомкнулись вокруг его головы, пальцы впились в его волосы. Она кричала — длинно, надрывно, теряя голос, — и сквозь крик впервые за вечер прорвалось её, бесстыдное и сорванное: «ещё... не смей... не смей останавливаться...» Тело сводило волнами, он чувствовал каждое сокращение на своих пальцах, тугое, ритмичное, и не отрывался от неё до последней дрожи.

Ева не шевелилась. Только пальцы, стискивавшие простыню, медленно разжались.

Он выдернул пальцы. Облизнул их. Поднялся над ней — ему было мало.

Он собрал в кулак её волосы, развернул лицом вниз, толкнул глубже на кровать. Она едва встала на четвереньки, когда он задрал её бёдра высоко вверх и вошёл сзади одним мощным толчком, до основания. Она обхватила его туго, горячая, скользкая от виски и собственных соков, и он зарычал, задвигался глубоко, жёстко, с той силой, что не оставляла ей ничего, кроме него.

Он закрыл глаза — и сразу: золото вместо темноты. Чистое лицо. Он вбился глубже, жёстче, пытаясь вышибить её из головы, но чем яростнее он вколачивался в покорную, текущую плоть под собой, тем ярче горело перед веками другое лицо. Запретное. Он намотал на кулак тёмные волосы Евы, потянул, и рука вспомнила не эту тяжесть, а другую: цвета виски, рассыпанную по серому платью до самой земли. Пот катился по спине, мышцы сводило, а тело требовало не ту, что была под ним. Перед глазами стояла та, имени которой он даже не знал, — и за один её взгляд на себя он отдал бы всё на свете.

Ева билась под ним, кричала в подушку.

— Я сейчас снова кончу!

— Кончай, как моя сука. Кончай, — рявкнул он, не открывая глаз.

Она сорвалась. Оргазм прошёл по ней дикой волной, она сжалась вокруг него, пульсируя, отдаваясь этой волне до конца. А Дан даже не смотрел на неё. Голова запрокинута, челюсть сжата, он долбил её через её оргазм, жёстко, без остановки, вбивался с последней яростью, вымотал себя до предела и наконец зарычал, сперма хлынула горячим, длинными толчками, глубоко, до краёв. Он кончал долго, тяжело, выливая в неё всё, что копилось с той минуты во дворе.

И это не принесло облегчения.

Он навалился на неё сверху, ещё оставаясь внутри, тяжело дыша. Ева лежала под ним, дрожащая, с улыбкой на губах, чувствуя, как его сперма медленно вытекает из неё.

— Ещё, — прошептала она. — Я ещё не наелась тобой. — И, помолчав, ровно, без упрёка: — Кто бы ни стоял у тебя перед глазами, кончаешь ты в меня. Мне и этого хватит.

Он не ответил. Поднялся первым, как поднимался всегда.

В ванной ударила вода.

* * *

Он стоял под душем, упершись ладонями в холодный кафель, и вода била ему в затылок, в плечи, стекала по спине. Он ждал, что станет легче. Всегда ждал этого после, той пустой чистой тишины в теле, ради которой всё и затевалось.

Тишины не было.

Ничего не помогало. Ни Ева, ни то, что он с ней только что сделал, ни три таблетки, ни виски. Так было всегда, сколько он себя помнил. Таблетки притупляли. Виски глушил. Ева выдерживала. Но сегодня во дворе то, что жило в нём с мальчишеских лет, встало так, как не вставало давно, и назад его было не загнать.

Он услышал, как открылась дверь ванной.

Ева вошла, уже без одежды, и встала у запотевшего стекла. Она знала его лучше всех на свете. Знала, что одного раза ему не бывает достаточно, что после первого он ещё горит, что его нужно вымотать дважды, трижды, до конца, и что она одна за все эти годы выдерживала это, не ломаясь, и была этим тайно горда.

— Ты не закончил, — сказала она ровно. Не вопрос.

Он повернулся к ней. Вода текла по его лицу, по груди, по животу, по члену, и он всё ещё стоял налитый, твёрдый, не остывший, и в этом была вся его проклятая суть. Он смотрел на неё сквозь падающую воду, не отрываясь, и от этого своего взгляда сам иногда уставал так, что хотелось выть.

— Отсоси мне, — сказал он обречённо, без всякого торжества. — Я не могу остыть.

Ева покорно опустила на колени прямо под струями. Горячая вода залила ей волосы, лицо, грудь. Она взяла его член в руки, провела языком по всей длине, заглотила глубоко, до горла, без прелюдий.

Дан зарычал, стиснул в кулаке её мокрые волосы. Он двигал её голову сам, резко, глубоко, заставляя брать его целиком. Вода заливала ей лицо, глаза, рот, — она не могла дышать. Перехватывала воздух, когда он отпускал хоть немного, и тут же брала глубже, сквозь воду, давясь и не отступая. Грязно. Громко. Звуки её рта тонули в шуме душа.

Он смотрел вниз, на размазанную тушь, на её растянутые вокруг него губы, на то, как она давится и всё равно берёт глубже. Но перед глазами стояла Мила. Её чистые глаза. Её губы, которых он никогда не касался. Её голос, которого он ни разу не слышал. Ева молчала, потому что рот у неё был занят, и только за это он был ей сейчас благодарен: любой её звук был бы не тот. И чем отчаяннее сосала Ева, тем яростнее он трахал её в горло.

— Глубже, — выдохнул он сквозь зубы.

Ева стонала вокруг него, и вибрация проходила по всей длине. Она работала языком, руками, горлом, отчаянно, преданно, как умела только она. А она умела шикарно. Слюна, вода, слёзы смешались на её лице. Она хотела дать ему хоть немного покоя. Хоть на минуту.

Когда он кончил, с низким болезненным рыком, вливая всё ей в горло, облегчения не пришло. Пустота. Под ней — злость. Он держал её голову, пока не вылил до последней капли. Потом медленно вышел из её рта, оставив на её губах длинную белую нить.

Ева тяжело дышала, стоя на коленях, вода стекала по её лицу. Она подняла на него глаза, мокрые, полные той любви, что жгла её сильнее любой ненависти.

Он посмотрел на неё сверху вниз, с размазанной тушью, растрёпанную, ту, что сам же из неё и сделал. Посмотрел сквозь неё. Мимо. Обмыл себя, член под струёй, коротко, равнодушно. Обошёл её, переступив, как переступают через вещь, оставленную на полу. И вышел из душа, не оглянувшись.

Ева осталась на коленях под остывающей водой.

* * *

Он обернул бёдра полотенцем и вошёл в комнату. С волос текло. Он не вытерся, не оделся, подошёл к окну и упёрся ладонью в раму.

Внизу лежал его город. Черепичные крыши спускались к воде, катер резал бухту белым росчерком, где-то звонили к вечерне, и над всем этим стояло то же солнце, что днём входило в её волосы.

Дважды. Он взял Еву дважды, вымотал себя до дрожи, и всё равно горел.

— Не могу выкинуть её из головы, — сказал он стеклу. Тихо, одними губами почти. — Никак не могу.

За спиной скрипнула дверь ванной.

— Что с тобой сегодня.

Ева стояла в проёме, запахнувшись в халат. Спросила устало, без обиды, — так говорят с тем, кого знают давно. Она не слышала того, что он сказал окну.

— Ты сорвал мне встречу. Приехал сам не свой. — Она склонила голову. — Я тебя таким никогда не видала. Не первая неделя, Дан. Тебя не узнать.

Он не обернулся сразу. Постоял ещё секунду лицом к стеклу. Потом взял со спинки кресла бутылку, хлебнул прямо из горлышка, и только тогда повернулся. Лицо было ровным, застывшим. Ни одна черта не дрогнула.

— Я имею на это право, — сказал он. — Ты сама мне его дала. Ещё тогда, в первую ночь. — Он смотрел на неё ровно, без торжества, как о давно решённом. — Я прихожу, когда хочу, по одной-единственной причине: никто не выдерживает меня так, как ты. Ни одна. Только ты умеешь выжать меня досуха — и наутро не рассыпаться.

Ева смотрела на него. На мгновение она потеряла привычную невозмутимость, но тут же взяла себя в руки.

— Можешь идти, — добавил он. — Мне нужно ехать.

Он собрал вещи с кресла. Развернулся. И вышел, не оглянувшись.

Ева осталась посреди комнаты, и с мокрых волос капало на пол. Но на губах её медленно проступила усмешка — лукавая, гордая. Чем бы он сегодня ни горел, чьё бы лицо ни стояло у него перед глазами, — приходит он к ней. И придёт снова, она это знала. Она затянула пояс халата потуже и пошла переодеваться — на встречу, на которую уже безнадёжно опоздала. Опоздание её не тревожило ничуть.

* * *

Марко ждал у подъезда, облокотившись на капот. Увидев Дана, выпрямился, обошёл машину, сел за руль.

Дан рухнул на заднее сиденье. Волосы ещё мокрые, воротник рубашки потемнел от них, и внутри была та же гулкая пустота, с которой он приехал.

— Домой, — сказал он. И, помолчав, глядя перед собой: — Мне всё равно не стало легче, Марко. Меня выворачивает от желания.

Марко не ответил. Он давно научился различать, когда босс говорит с ним, а когда с самим собой. Тронул с места, вывел машину на набережную.

Дан отвернулся к окну. Город уходил назад, крыши, платаны, старые стены в подтёках соли, и в стекле дрожало его собственное отражение поверх всего этого. Он смотрел, не видя. Ещё месяц назад ничего этого не было — ни пустоты, ни двора, ни девчонки, из-за которой он теперь третью неделю стоял за чужой оградой, как мальчишка, и не мог сделать десяти шагов.

Месяц назад он был спокоен.

* * *

Он познакомился с Евой два года назад, за карточным столом.

Был поздний вечер, один из тех закрытых столов над заливом, куда пускали не по деньгам, а по имени, и его имя открывало в этом городе любые двери. Играли по-крупному, молча, серьёзно. Он заметил её сразу, как замечают хищника в комнате, полной домашней птицы. Женщина старше всех мужчин за столом — и на которую эти мужчины смотрели так, как не смотрели на своих молодых спутниц.

Она играла холодно, без азарта. Обчистила двоих и не повела бровью. А когда осталась против него, посмотрела ему прямо в глаза долгим взглядом, каким на него не решался смотреть почти никто в этом городе.

— Вы блефуете, — сказала она, разглядывая его поверх карт. И улыбнулась с тем безразличием, с каким смотрят на человека, которого не боятся. — У вас на руках ничего.

У него на руках действительно ничего не было. Он бросил карты и весь остаток вечера смотрел на неё, а не в игру.

Когда она поднялась и пошла в глубину дома, в сторону дамской комнаты, он выждал ровно столько, чтобы это не выглядело как погоня. А потом встал и пошёл за ней.

Он поймал её в коридоре, пустом, тускло освещённом, вдали от карточного зала. Взял за руку выше локтя, развернул и прижал спиной к стене прежде, чем она успела произнести хоть слово.

Она не вскрикнула. Только вскинула бровь, глядя на него снизу вверх с тем же холодным любопытством, что и за столом. Женщина, которую трудно было удивить.

— Меня давно никто так не цеплял, как ты, — выдохнул он ей почти в губы. — Весь вечер. Этими своими зелёными глазами.

Она усмехнулась. Медленно, зная себе цену.

— Как жарко, — протянула она, скользнув взглядом по его лицу, по губам, обратно к глазам. — Представляю, какой ты, должно быть, горячий, когда занимаешься любовью.

Он наклонился к её уху. Медленно. И там, у самой мочки, почти касаясь губами кожи, выдохнул:

— Я не занимаюсь любовью, дорогая.

Она отпрянула, насколько позволяла стена за спиной, и посмотрела на него с искренним, почти комичным изумлением.

— Ты что, гей?

Он рассмеялся. Коротко, низко, впервые за весь вечер, — и Ева не нашлась с ответом.

— Нет, — сказал он, снова придвигаясь к её уху. — Я не занимаюсь любовью. Я жёстко трахаюсь. И однажды ты узнаешь, что это такое.

На секунду он почувствовал, как качнулось к нему её тело, прежде чем разум успел его остановить. Одна секунда. А потом обе её ладони легли ему на грудь и оттолкнули, твёрдо, без паники.

— А я, — сказала она, поправляя платье, возвращая себе лицо, — не трахаюсь с теми, кого вижу первый раз в жизни.

И ушла, не оглянувшись, оставив его одного в пустом коридоре, где ещё держался запах её духов.

Она забрала у него всё в тот вечер. Но ни номера, ни взгляда на прощание не оставила. Просто собрала фишки узкой ухоженной рукой, накинула на плечи что-то тёмное и уехала, а он остался стоять и понимать, что впервые за долгое время чего-то хочет так, что это не отпускает его ни на минуту.

Три дня он терпел. На четвёртый узнал, где она живёт.

* * *

Он приехал к ней за полночь, в том состоянии, которое сам ненавидел, когда то, что жило под кожей, уже не давало думать, а гнало. Забарабанил в дверь так, что где-то в доме зазвенело стекло.

— Ева!

Голос разлетелся по тихой улице. Ему было всё равно, кто услышит.

— Ева, открой!

Свет зажгётся наверху. Потом на лестнице. Прислуга открыла. Она спустилась до середины и остановилась, положив руку на перила, в шёлковом халате, с распущенными на ночь волосами, и посмотрела на него сверху вниз с тем спокойствием, с каким открывают дверь запоздалому курьеру.

— Ты вообще в своём уме, — проговорила она. Не испуганно. С холодным удивлением. — Что ты себе позволяешь. Врываться в мой дом, орать. Кто ты такой, чтобы...

— Мне надоело, — оборвал он. Он стоял в её доме, тяжело дыша, и держался за перила у основания, потому что ноги не держали. — Надоело играть с тобой в кошки-мышки.

Она приподняла бровь.

— Я хочу тебя, — сказал он грубо, без обёртки, как было. — Я хочу трахнуть тебя, и эта мысль не отпускает меня четыре дня. Ты довольна?

Секунду она молчала. А потом усмехнулась. Медленно, с той самой ленивой дерзостью, что доводила его ещё за карточным столом.

— Да пошёл ты, — сказала она.

И, повернувшись, пошла вверх по лестнице, не торопясь, покачивая бёдрами под шёлком, зная, что он смотрит.

Она играла с ним. Она играла с ним с той первой минуты за столом, потому что увидела в его глазах эту дикость, эту неприрученность, и захотела узнать, как далеко его можно довести. Она думала, что держит игру в руках. Она ошиблась.

Он взлетел по лестнице за ней, через две ступени, и настиг наверху, там, где лестница выходила на площадку. Поймал за волосы, намотал на кулак, дёрнул назад. Она охнула, спина выгнулась, и он развернул её и вжал в стену, прижав всем телом, лицом к лицу, так близко, что она почувствовала его дыхание на своих губах.

И замерла. Впервые за весь вечер в её глазах мелькнуло что-то, кроме насмешки. Она ждала удара. Она была умной женщиной, знала, кто перед ней и на что он способен, и готовилась к боли.

Он её поцеловал.

Яростно, глубоко, с проникновением языка, вжимая её затылок в ладонь, не давая отстраниться, с голодом четырёх дней.

Она держалась одну секунду. Одну гордую секунду её тело ещё помнило про игру, про «да пошёл ты», про то, что она неприступна. А потом сдалась. Её губы раскрылись под его губами, руки, только что упиравшиеся ему в грудь, вцепились в рубашку и потянули к себе, и она ответила ему, растерянно, жадно, забыв обо всём, что говорила минуту назад. Стон вырвался у неё в его рот.

Он отстранился. Резко, оставив её задыхаться, прижатой к стене, с приоткрытыми губами. Он смотрел на неё сверху, и на его лице медленно проступала холодная усмешка человека, который только что выиграл.

— Так ты всё-таки не хочешь, — сказал он, не повышая голоса. Это был не вопрос. — Скажи это ещё раз.

Она молчала. Сказать было нечего. Она только что ответила на его поцелуй так, что отпираться было бессмысленно, и они оба это знали. Вся её дерзость, вся холодная неприступность рассыпались об одну простую правду, которую её тело выдало прежде, чем разум успел спасти лицо.

Она хотела его. И он это видел.

Он снова поймал её губы, и в этот раз она не сопротивлялась ни секунды. Целуя, он потянул пояс её халата, и шёлк соскользнул с её плеч на пол площадки. Он развернул её лицом к стене, вжал ладонью между лопаток, и она уперлась руками в холодную штукатурку, выгнувшись, отдавая ему себя, ту самую женщину, которая минуту назад цедила ему «да пошёл ты» с высоты своей лестницы.

Он взял её там же, на площадке, у стены, стоя, грубо и быстро, вбиваясь в неё с яростью четырёх дней ожидания, и она стонала, вскрикивала, прижималась щекой к штукатурке и подавалась ему навстречу. Гордая, неприступная, взрослая женщина, которая думала, что приручает зверя, а на деле сама встала к стене по первому его движению. Она кончила первой,

задрожав всем телом, он почувствовал это и позволил себе догнать её, вылившись в неё с глухим рыком, уткнувшись лбом в её мокрую шею.

Потом они сползли на пол прямо там, на площадке, и долго молчали, тяжело дыша, и её красивая рука лежала у него на груди, там, где колотилось сердце.

— Я поняла это раньше тебя, — сказала она наконец, хрипло, глядя в потолок. — Ещё за столом. Что этим кончится.

Он усмехнулся.

Ни один из них не знал тогда, что этим не кончится. Что это только начинается, и что впереди у них два года, а потом один белый выжженный двор, который сметёт всё.

* * *

Дом стоял на самой вершине холма, отдельно от всех, куда не поднимался чужой без приглашения.

Его строили не для того, чтобы жить. Его строили, чтобы держать оборону. Глухие каменные стены, узкие высокие окна, тяжёлые ворота, за которыми начиналась территория, где Дан был законом. Ночью дом смотрел на город сверху одним рядом холодных огней, и город смотрел на него снизу и знал, чей это дом, и обходил холм стороной.

Внутри было просторно и пусто. Много камня, много тёмного дерева, дорогие вещи, за которые платили большие деньги и которых никто никогда не трогал. Ни одной фотографии на стенах, ни одной мелочи, которая сказала бы, что здесь живёт человек, а не проходит службу. Огромные комнаты, где шаги отдавались эхом, и это эхо было единственным, что отвечало ему по вечерам. Дом был как его хозяин: снаружи крепость, которую не взять, а внутри холод и ни следа живого.

Дан толкнул тяжёлую дверь и вошёл первым. Скинул пиджак прямо на ходу, бросил его на спинку кресла, не глядя, куда упадёт.

— Марко, — бросил он через плечо, — скажи там, пусть накрывают. Жрать хочу, сил нет.

— Уже, — отозвался Марко, закрывая за собой дверь.

При людях он звал его босс. Всегда. Так было заведено, так было правильно, так держалась вся эта пирамида, на верхушке которой стоял Дан. Но здесь, за этими стенами, когда они оставались вдвоём, всё лишнее спадало. Здесь Марко звал его по имени. Потому что двадцать четыре года назад они были двумя мальчишками без гроша, и один прикрыл другого спиной в переулке, где могли остаться оба, и с тех пор между ними было то, чего не купишь и не назначишь. Марко был единственным человеком в этом городе, который заходил в этот дом не как в крепость, а как к брату.

Марко был ему ровесник и на голову ниже — но не оттого, что был мелким. Рядом с Даном мелким казался любой. Улица, вырастившая их обоих, из Марко так до конца и не выветрилась: жилистый, сухой, с быстрыми руками. Тёмно-русые волосы он стриг коротко, по-солдатски, и на висках у него уже пробивалась ранняя седина. Держался он вполоборота, чуть в стороне, там, откуда видны вся комната и обе двери.

При нём всегда было оружие — Дан не носил его отродясь, а Марко без него не выходил за порог. И костяшки у него вечно были сбиты, в свежих и заживающих ссадинах, потому что этими руками он работал. Он убивал — спокойно, без надрыва и без угрызений, как делают привычное дело. А за Дана задушил бы любого одной рукой и не сбился бы с дыхания.

И была в этом злая насмешка. Страшным собой был не Марко, а Дан: его нельзя было назвать красивым, лицо его пугало не меньше, чем его имя, и снаружи, и внутри он был чистой тьмой, от которой отводили глаза. Марко же, по меркам Балкан, был даже хорош собой — не смазлив, а той крепкой, обветренной миловидностью, которая нравится женщинам. И женщины это чуяли: к Марко они тянулись сами, по своей воле, а Дан не ухаживал и не спрашивал — он брал, и ему не отказывали, потому что не смели. Миловидный — убивал. Страшный — не пачкал рук.

И при всём этом серые глаза его были полны тепла — настоящего, живого, никак не ввязавшегося с кровью на его руках. Но это тепло обманывало. В нём и была вся их с Даном пара: Дан за всю жизнь не запачкал рук, ему хватало взгляда, — а руки, что ломали людей, были у Марко. Взгляд Дана мог убить любого. И убивал он — руками Марко.

Дан рухнул в своё кресло. Оно стояло у самого окна, глубокое, старое, единственная вещь в доме, которую он не менял годами, потому что она приняла форму его тела и знала его лучше людей. Он потянулся к столику, плеснул виски в стакан, хлебнул и запрокинул голову на спинку, закрыв глаза.

Марко не ушёл распорядиться про ужин. Он сел напротив, в кресло, куда обычно не садился никто. Помолчал, глядя на друга. А потом сказал прямо, как умел только он:

— Дан. Что с тобой происходит.

Дан не открыл глаз.

— Я тебя не узнаю в последнее время, — продолжил Марко, ровно, без нажима. — Ты сам на себя не похож.

— Я знаю. — Дан наконец поднял голову. Лицо серое, осунувшееся, под глазами синяки, — ни следа того, перед кем вставал весь город. — Я сам себя не узнаю, Марко.

Марко подался вперёд, поставив локти на колени.

— Мы зачастили с этими поездками к церкви, — сказал он тихо. — Третью неделю. Ты думаешь, я не вижу, куда мы ездим и зачем ты стоишь там за оградой по полчаса.

Дан опустил голову. Взял её в ладони, упёршись локтями в колени, и сидел так, ссутулившись, огромный, сломанный, и это было страшнее любой его ярости, потому что таким его не видел никто.

— Надо звонить доку, — проговорил он в пол. — Пусть выпишет что-то новое. Сильнее. Эти уже не берут. Я глотаю по три и не чувствую ничего. Я себя не контролирую, брат. Совсем.

Марко нахмурился.

— А что Ева? — спросил он осторожно. — Ева тебе больше не помогает?

Дан невесело усмехнулся, не поднимая головы.

— Ева. — Он произнёс это имя, как называют старое лекарство, которое перестало действовать. — Мне последнее время совсем не хватает Евы. Был у неё сегодня. Дважды. Вышел таким же пустым, каким пришёл.

Марко откинулся назад. Он знал босса много лет, знал его аппетит, знал женщин, которые проходили через этот дом, но такого не слышал ни разу.

— Слушай. — Он развёл руками. — В чём тогда беда, брат? Ты же Дан Радич. Любая женщина в этом городе за счастье почтёт оказаться в твоей постели. Скажи слово — приведу тебе хоть десять. Молодых, красивых, каких захочешь. Зачем ты мучаешь себя?

Дан поднял на него глаза.

— Я не хочу женщину. Я хочу её.

Сказал тихо, без нажима, без привычного куража, — и от того, как просто это прозвучало, Марко осёкся.

Марко смотрел на него долго. И медленно, по лицу друга, начал понимать. Улыбка сползла с его губ.

— Только не говори мне, — проговорил он медленно, — что в тебе просыпается зверь на эту монашку.

Дан закусил нижнюю губу. Откинулся на спинку, стиснул подлокотники кресла и уставился в потолок, потому что смотреть Марко в глаза не мог.

— Я не могу выкинуть её из головы, — сказал он наконец, выдавливая каждое слово. — Не могу, Марко. Ни таблетками, ни Евой, ничем. Она стоит перед глазами, когда я сплю. Когда я не сплю. Когда я в другой женщине. Всё время.

Марко помолчал. А потом сказал то, что сказал бы любой на его месте, то, что было простой мужской логикой их мира:

— Так в чём проблема. — Он пожал плечами. — Хочешь её — возьми. Привезём тебе твою монашку. Трахнешь как следует раз, другой, и отпустишь. Всегда отпусало.

Дан рванулся из кресла.

Одним движением, всем телом подавшись вперёд, к Марко, и глаза его почернели так, что Марко невольно откинулся назад.

— Не смей, — выдохнул Дан. Тихо, но так, что по спине проходил холод. — Не смей так о ней говорить. Слышишь? Никогда.

Марко замер.

— Она чистая, — сказал Дан, и слово далось ему с трудом. — Невинная. Совсем ещё девочка. Она к монастырю готовится. Как я могу её тронуть этими руками. Ты понимаешь, чем я живу. Чем от меня пахнет. Я подойду — и испачкаю. Одним тем, что я есть.

И вот тогда Марко посмотрел на него по-настоящему. С удивлением. С чем-то близким к ужасу. Как смотрят на человека, которого знали всю жизнь и вдруг увидели в нём чужого.

— Дан, — проговорил он, качнув головой. — С каких пор тебя это волнует?

Дан не ответил.

Потому что ответа не было. Ещё месяц назад его это не волновало. Ещё месяц назад он не знал, что можно чего-то хотеть и не брать.

* * *

Он пришёл в церковь с Марко, по делу. Сделка была чёрной, из тех, что не заключают при свете, а он заключал её под сводами, где со стен смотрели лики святых, где пахло воском и ладаном, где каждый камень был намолен сотней лет чужих молитв. Дьявол пришёл торговать в дом Божий и не почувствовал ни тени стыда. Ему было привычно. Тьме всегда просторно там, где её не ждут.

А потом началось причастие.

Он не собирался смотреть. Ему не было дела до их обрядов, до чаши, до тихого пения. Но она вышла помогать раздавать хлеб, и когда подошла её очередь, наклонилась совсем близко, поднося кому-то рядом с ним кусочек на тонких пальцах, и её волосы, прибранные, но живые, качнулись у самого его лица.

И его накрыло.

Не лицом её. Не глазами. Запахом. Ладаном, воском, чем-то чистым и тёплым, совсем незнакомым, потому что в его жизни этого не было и быть не могло. Один вдох. Дьявол сидел в доме Божьем, торговал кровью, а рядом склонилась невинность и дышала ему в лицо чистотой, сама того не зная.

Он вышел из церкви оглушённым.

И с того дня приходил снова. Стоял за оградой, как вор, смотрел на неё издали и не мог понять, что с ним сделал один-единственный вдох, который он до сих пор не сумел из себя выветрить, сколько ни глушил виски, женщинами, всем, что было под рукой.

Он до сих пор не понимал, что тогда случилось. И это пугало его больше всего, что происходило с ним за тридцать пять лет.

Глава 2. Новое имя

Новые таблетки док привёз утром.

Сильнее прежних, в два раза, с длинным названием на коробке, которое Дан не стал читать. Он проглотил три перед выходом, запил виски, и до самого вечера ждал, когда придёт та обещанная тишина. Она не пришла. К закату он понял, что и эти не берут, и перестал ждать. То, что жгло его третью неделю, таблетки и не могли погасить. У этого теперь было лицо — серое платье, волосы цвета виски, ягнёнок на коленях.

А к закату его ждали у дяди.

* * *

Драгану исполнилось шестьдесят, и по такому случаю в его дом на побережье съехались все, кто хоть что-то значил в этом городе, и многие из тех, кто не значил ничего, но хотел, чтобы их увидели.

Дан приехал, когда солнце уже опускалось в море. Марко шёл на полшага позади, неся перед собой коробку, длинную, тяжёлую, перевязанную чёрной лентой. То, что было внутри, стоило больше, чем иные из гостей зарабатывали за год.

Дан был весь в чёрном. Он всегда носил чёрное, но сегодня оно сидело на нём так, что разговоры смолкали сами. Костюм по фигуре, ворот рубашки расстёгнут, никакого галстука. Смоляные волосы зачёсаны назад, открывая лицо, которое природа вырезала резцом, не пожалев ни одной жёсткой линии. Тяжёлая челюсть, тёмная щетина, скулы, о которые, казалось, можно порезаться. И глаза цвета старого виски, которые скользили по толпе неторопливо, спокойно, и под этим взглядом каждый, на ком он останавливался, чувствовал, как холодеет внутри.

Он шёл через сад, и сад расступался перед ним.

Разговоры гасли по мере его приближения и вспыхивали снова за спиной, тише прежнего. Мужчины склоняли головы. Кто-то подавался вперёд, надеясь поймать его кивок, и не смел заговорить первым. Женщины провожали его глазами дольше, чем позволяло приличие, и отводили взгляд, только когда он проходил мимо. Он не смотрел ни на кого. Он шёл к дяде.

Драган сидел в глубине сада, в своём кресле, том самом, на колёсах, в котором провёл последние пятнадцать лет. Старик с прямой спиной и мёртвыми ногами, с лицом, по которому было видно, каким он был до аварии, когда этот город принадлежал ему, а не племяннику. Рядом стояла его жена, всё ещё красивая, всё ещё держащая руку на спинке его кресла, как держат на том, что боятся потерять.

И вот тут случилось то, чего не ждал никто из чужих.

Дан, перед которым только что склонялся весь сад, подошёл к старику и опустился на одно колено. Медленно, без спешки, так, что все увидели. Огромный, в чёрном, он стал вровень с сидящим дядей, и лицо его, каменное для всех, дрогнуло.

— С днём рождения, — сказал он тихо.

Драган поднял руку, сухую, тяжёлую, и положил ему на щёку, накрыв ладонью щетину и скулу.

— Я рад, мой мальчик, — проговорил старик. — Рад, что ты пришёл.

На секунду в саду не осталось ни главаря, ни его людей, ни сделок, ни крови. Остался мальчишка под ладонью человека, который однажды его подобрал. Дан прикрыл глаза, всего на миг, и Марко, стоявший рядом с коробкой, отвёл взгляд, потому что на это не смотрели даже свои.

Потом Дан поднялся.

И всё вернулось. Он выпрямился во весь рост, и лицо его снова застыло. Он подал Марко знак. Коробку внесли. Кто-то ахнул, разглядев, что внутри, но Дан уже не смотрел. Он кивнул дяде, коротко, обещая вернуться, и пошёл к краю сада, подальше от гостей.

Никто не двинулся за ним.

* * *

Он сел в кресло под старой оливой, на краю сада, там, где заканчивались огни и начиналась темнота над водой.

Солнце садилось в море, и последний свет ложился на залив красным и золотым. Кто-то принёс ему виски, поставил на низкий столик и исчез, не сказав ни слова. Дан взял бокал, откинулся на спинку и стал смотреть на закат сквозь янтарь.

Виски в бокале было точно того же цвета, что его глаза. И тот же цвет лежал на плечах у девочки во дворе церкви, на солнце, в её волосах. Он смотрел в бокал и видел её.

Он поднёс сигару к губам, затянулся глубоко, задержал дым и выпустил его вверх медленным кольцом. Дым таял в темнеющем воздухе. Он стиснул зубы — привычно, как делал в последнее время всё чаще, сам того не замечая.

Он смотрел на дядю издали.

Старик в кресле, окружённый людьми, которые пришли не столько ради него, сколько ради того, чтобы их запомнили пришедшими. И глядя на него, на эти мёртвые ноги, на прямую спину, на руку жены на спинке кресла, Дан вспоминал.

Он помнил, каким было это лицо двадцать четыре года назад. Тогда оно не знало старости и колёс. Тогда этот человек вошёл в его жизнь и вытащил его оттуда, где мальчишке было не выжить.

Ему было одиннадцать, и он третий день жил на улице.

Три дня с тех пор, как ушёл из дома отца, не взяв ничего, кроме того, что было на нём, и маленькой фотографии. Три дня он не ел толком, спал в подворотнях, пил из колонок, и город, который принадлежал его отцу-прокурору, оказался к нему безжалостен, потому что улица не знает, чей ты сын. Она знает только, что ты один и что тебя некому искать.

На третий день он увидел, как в переулке здоровый мужик держал за шиворот мальчишку.

Мальчишка был его лет, тощий, чумазый, и он не плакал, а огрызался, извивался, бил ногами, и от этого мужик злился только сильнее и уже занёс руку. Дану не было до них дела. Три дня улицы научили его, что чужая беда — это чужая беда, и лезть в неё значит остаться без головы. Он мог пройти мимо.

Но он не прошёл.

Он поднял с земли камень, тяжёлый, в половину своей ладони, и швырнул его мужику в спину, а когда тот обернулся, заорал во всё горло:

— Отпусти его!

Что было дальше, он помнил смутно. Помнил, что мужик бросил мальчишку и пошёл на него, и что он не побежал, хотя надо было бежать. Помнил, что успел ударить ещё раз, уже кулаком, снизу, и получил в ответ так, что искры брызнули из глаз. Но на шум из-за угла выглянули люди, и мужик, выругавшись, ушёл, потому что связываться при свидетелях не захотел.

Дан сплюнул кровь и протянул мальчишке руку.

Тот сидел на земле, смотрел на протянутую ладонь снизу вверх и не брал её. Долго. Дан потом понял почему. Этому пацану за всю его жизнь руку не протягивал никто. Его хватали за шиворот, за волосы, за горло, но чтобы кто-то протянул руку и поднял с земли — такого не было.

Наконец он взялся. Дан вздёрнул его на ноги.

— Ты чего полез, — сказал мальчишка, отряхиваясь, и в голосе была не благодарность, а злость. — Тебя не просили.

— Пожалуйста, — ответил Дан и снова сплюнул красным.

Мальчишка посмотрел на него по-другому. С интересом.

— Ты чей? С кем живёшь?

— Ни с кем. — Дан вытер рот тыльной стороной ладони. — А ты?

— А я сам по себе. — Тот вскинул подбородок с беспричинной гордостью. — Сирота. Работаю на серьёзного человека. На Драгана. Слыхал про такого?

Дан замер.

— Драган, — повторил он тихо. — Он мой дядя.

Мальчишка секунду смотрел на него. А потом расхохотался, запрокинув голову, звонко, от всей души, так, что даже закашлялся.

— Твой дядя. — Он вытер глаза. — Ну да. А мой отец — король. Ты себя видел, племянник? Ты спишь в лужах.

— Отец не разрешал мне с ним видаться, — сказал Дан ровно, не обидевшись, не отступив. — всю жизнь. Говорил, что он позор. Я его никогда и не видел. Но он брат моего отца, и он мой дядя. — Он посмотрел мальчишке в глаза. — Отведи меня к нему. И сам увидишь, вру я или нет.

И оттого, как он это сказал — спокойно, без страха, — у мальчишки стёрло усмешку. Он смотрел на этого чумазого пацана, который час назад кинул за него камень, а теперь стоял, сплёвывая кровь, и говорил, что он родня самому Драгану, и не мигал.

— Ну идём, — сказал мальчишка наконец. — Только когда тебя вышвырнут, не реви. Меня Марко зовут.

* * *

Драган в те годы ещё ходил на своих ногах.

Он стоял посреди двора, окружённый людьми, крупный, тёмный, в самом расцвете той силы, что позже отнимет у него авария, и когда Марко подтолкнул к нему чумазого мальчишку, он даже не сразу опустил взгляд.

— Босс, — сказал Марко, и в голосе его была уже не насмешка, а что-то опасливое, потому что вблизи босса шутки кончались. — Я тут это. Привёл. Пацан говорит, что он твой племянник. Я подумал, пусть сам скажет.

Драган усмехнулся, не глядя.

— Вот как. — Он оглядел двор, своих людей, и в голосе была тяжёлая ирония человека, которого пытаются обвести. — Оказывается, у меня есть племянники. И они ходят по улицам в лохмотьях. Ну надо же.

А потом он опустил глаза на мальчишку.

И замолчал.

Усмешка сошла с его лица медленно, черта за чертой. Он смотрел на грязного одиннадцатилетнего пацана, на разбитую губу, на упрямый подбородок, на глаза цвета старого виски, и лицо его менялось на глазах, и люди вокруг притихли, не понимая, что случилось с боссом.

Он знал это лицо. Он видел его каждый день своего детства. Лицо брата, их порода. Кровь, которую ни с чем не спутаешь.

Драган шагнул вперёд. И этот человек, перед которым весь двор стоял навтыжку, медленно опустился на одно колено, чтобы стать вровень с ребёнком, и взял его лицо в свои большие ладони, и повернул к свету, вглядываясь, всё ещё не веря, боясь поверить.

— Боже, — выдохнул он. — Данило.

Мальчик вздрогнул. Своё имя, полное, из чужих уст, он услышал впервые за три дня, и оно ударило его даже сильнее, чем кулак того мужика.

— Данило, — повторил Драган. Глаза у него намокли. — Что ты здесь делаешь, мой мальчик? Как ты здесь оказался?

— Я ушёл из дома, — сказал Дан.

— Из дома. — Драган не понимал. — Как ушёл. Как отец позволил тебе...

— Я не спрашивал его. — Голос мальчика не дрогнул, и это было даже жутко. — Я не хочу больше жить рядом с этим монстром. Лучше на улице. Лучше где угодно.

Слово повисло в воздухе. Монстр. Так ребёнок назвал родного отца, прокурора, человека закона, и сказал это так просто, так буднично, что стало ясно — это не обида минуты. Это то, с чем он жил.

И Драган понял. Понял в один миг всё, что стояло за этими словами, всё, о чём он подозревал годами, но не знал наверняка. Он притянул мальчишку к себе, обнял, вжал в своё большое тело, и Дан, который три дня держался, который не заплакал ни разу, ни на улице, ни под кулаком, вдруг понял, что рядом с этим человеком можно не ждать удара.

Он не заплакал и теперь. Он разучился где-то в том доме, где рос. Но он стоял, уткнувшись лицом в плечо чужого, в сущности, человека, который назвал его по имени и обнял. И долго не отстранялся.

— Всё, — глухо сказал Драган ему в макушку. — Всё, мой мальчик. Больше никакой улицы. Никакого отца. Ты дома.

Он поднялся, держа руку на плече мальчика, и обвёл двор тяжёлым взглядом, и все поняли: этот пацан теперь неприкосновенен.

— А этот? — Драган кивнул на Марко, который топтался в стороне, забытый.

— Он меня привёл, — сказал Дан. И, помолчав, добавил то, что решило судьбу их обоих: — Он мой друг.

Марко вскинул на него глаза. Они были знакомы час. Час назад этот пацан кинул за него камень, а теперь называл другом перед самым Драганом, при всех.

— Тогда и он остаётся, — сказал Драган.

* * *

С того дня началась другая жизнь.

Драган забрал его к себе и растил, как не растил бы и родного сына, которого судьба ему не дала. Он не сделал из мальчика простого солдата, каких у него было много. Он заставлял его учиться, когда тот рвался на улицу к своим, стоял над его тетрадами, повторяя, что голова стоит дороже любого ствола, что дурак с оружием проживёт год, а умный без оружия — всю жизнь. Он дал ему доучиться, дал ему больше, чем школу, вложил в него всё, что знал сам, и всё, чего сам не успел. И рядом всё это время был Марко, тень его, брат его, единственный, с кем Дан был по-настоящему собой.

Драган дал ему дом. Дал ему имя, свою фамилию, ту, что когда-то сам взял у матери, лишь бы не носить отцовскую. Дал ему всё.

И только одного не дал. Не смог вернуть того, что отняли у мальчика в первые одиннадцать лет, там, в чистом доме прокурора, за высоким забором, куда не долетал ни один крик.

А годам к пятнадцати в нём проснулось то, с чем он прожил потом всю жизнь, — голод, который нечем утолить. С этого и пошла его собственная дорога, отдельная от Драгановой: тот тёмный мир, где он двадцать лет будет держать город за горло. Так и разошлась его жизнь на три неровных куска: одиннадцать лет, что отнял отец; те несколько, что подарил дядя; и двадцать, что он прожил зверем.

* * *

Сквозь дым сигары Дан смотрел на старика в кресле.

На то, каким маленьким он стал среди собственного шумного праздника. И он думал об одном: сколько ещё таких вечеров у них осталось.

Где-то на самом дне памяти, там, куда он не любил спускаться, шевельнулся обрывок. Голоса за дверью. Двое мужчин, братья, кричат друг на друга, а он, совсем маленький, слушает через щель, не понимая слов. Что-то про сына. Что-то про вора и прокурора. Отцовский голос, чеканящий, как приговор.

Дан сжал зубы и загнал это обратно. Затянулся глубже, выпустил дым в темнеющее небо и запил горечь виски.

Не сегодня. Сегодня у дяди праздник.

* * *

Дан поднялся из кресла, оставил недопитое виски на столике и пошёл обратно, через сад, к дяде.

Праздник уже перевалил за середину. Гости говорили громче, смеялись свободнее, вино сделало своё дело, и на Дана поглядывали украдкой, но подходить по-прежнему не смели. Он шёл сквозь толпу, никого не задевая взглядом.

Драган сидел там же. Жена отошла к гостям, и старик был один в своём кресле, чуть в стороне от общего шума, и смотрел на воду, на последнюю красную полосу над морем. Дан потянул к нему низкий стул, сел рядом, так, чтобы их головы были вровень.

Какое-то время они молчали. Им это было привычно. Двое людей, которым не нужны слова, чтобы сказать друг другу главное.

— Хороший вечер, — проговорил наконец Драган, не отрывая глаз от моря. — Все пришли. Даже те, кого я не звал.

— Тебя уважают.

— Меня боятся. — Старик усмехнулся. — Уважают тебя. Меня давно уже нет, мой мальчик. Есть кресло на колёсах и старое имя. А сила вся у тебя.

Дан не ответил. Он смотрел на дядю сбоку, на постаревший профиль, на руки, которые когда-то держали весь этот город, а теперь неподвижно лежали на подлокотниках.

Драган повернул к нему голову. И в его лице была тяжесть, какой Дан не видел раньше. Он списал её на вино и возраст.

— Ты хороший сын мне был, Данило, — сказал старик тихо. — Лучше, чем я заслужил. Я взял тебя тогда, во дворе, и думал, что спасаю. А иногда мне кажется, что я сделал с тобой то же, что и он. Просто по-другому.

— Ты о чём. — Дан нахмурился. — Ты дал мне всё.

— Я дал тебе то, что смог. — Драган накрыл его руку своей, сухой и тяжёлой. — И забрал больше, чем ты знаешь. Когда-нибудь ты это поймёшь. И я не знаю, простишь ли ты меня тогда.

Дан смотрел на него и не понимал. Слова были странные, но старик глядел на него с такой любовью, что не хотелось в них вдумываться.

— Ты слишком много выпил, — сказал он мягко, как не говорил больше ни с кем. — Что ты мог у меня забрать. Ты дал мне жизнь, старик.

Драган долго смотрел на него. А потом улыбнулся и отпустил его руку.

— Наверное, ты прав. — Он снова отвернулся к морю. — Старый дурак на своём празднике. Не слушай меня. Налей-ка нам лучше.

Дан налил. Они выпили, глядя, как последний свет уходит с воды, и Дан быстро забыл этот разговор, потому что впереди был вечер, и дядя был жив, и в кои-то веки его самого никто не трогал.

Он забудет его надолго.

Он вспомнит эти слова через много месяцев, стоя над чужими документами в трясущихся руках, и тогда каждое из них обожжёт его, как раскалённое железо. Но это будет потом.

А в тот вечер он просто сидел рядом с дядей, пил виски и смотрел на море, и ему было почти хорошо.

Глава 3. Колокольная

Склад стоял на отшибе, у старого порта, там, где ночью не горели фонари и куда полиция этого города не совала носа без особого приглашения.

Внутри было холодно и пусто. Пахло ржавчиной, соляровкой и тем кислым, животным запахом, что появляется в помещении, где недавно жил страх. Под голой лампой, на железном стуле посреди бетонного зала, сидел человек, и по лицу его было видно, что он уже сосчитал все свои ошибки и понял, что расплата за них будет одна.

Дан приехал последним.

Он всегда приезжал последним. Люди его к этому часу уже сделали грязную работу подготовки, а ему оставалось то, ради чего он был нужен, — присутствие. Он вошёл, и в холодном зале стало ещё холоднее. Разговоры смолкли. Те, кто стоял вдоль стен, выпрямились, опустили глаза. А человек на стуле поднял на него взгляд, полный последней, загнанной надежды, и надежда эта угасла, едва он увидел, кто вошёл.

Дан был в чёрном. Крупный, тяжёлый в плечах, он двигался медленно, без единого лишнего жеста. Он остановил взгляд на человеке — и тот вжался в стул, втянув голову в плечи.

За всю жизнь Дан ни разу не взял в руки оружия. Ему это было не нужно. Другие пачкали руки свинцом и кровью, а ему хватало взгляда. Он смотрел на человека, и человек начинал говорить сам, платить сам, ползти на коленях сам, потому что не подчиниться этому взгляду было страшнее, чем всё, что могло случиться после.

— Ты знаешь, зачем ты здесь, — сказал Дан. Не вопрос. Голос был низкий, ровный, почти тихий, и от этой тишины по залу прошёл холодок.

Человек забормотал. Про то, что вернёт. Про то, что это ошибка, недоразумение, что его подставили. Дан слушал, не перебивая, и лицо его оставалось неподвижным, и это было хуже всего, потому что по нему нельзя было прочесть приговор.

— Деньги вернёшь к пятнице, — сказал он, когда человек выдохся. — Все. И сверху столько же, за то, что заставил меня приехать сюда и смотреть на тебя. — Он помолчал. — А теперь тебе объяснят, почему брать чужое у меня не стоило.

Он повернулся и пошёл к выходу, не оглядываясь. За спиной началось то, что должно было начаться, и он не прибавил шагу и не замедлил его. Он это слышал тысячу раз и давно перестал слышать.

Он вышел на воздух, к воде.

Светало. Первый свет ложился на маслянистую чёрную гладь порта, и где-то далеко, за молами, кричала одинокая чайка. Дан стоял, глубоко вдыхал солёный холодный воздух и ждал, когда внутри отпустит, когда придёт хоть что-нибудь — торжество, тяжесть, усталость. Не приходило ничего. Было только знакомое онемение, от которого не спасали ни адреналин, ни кровь.

Когда-то это его наполняло. Победа, сила, страх в чужих глазах — когда-то он был этим жив. Теперь он держал в кулаке целый город и не чувствовал собственных рук.

* * *

Марко вышел следом. Встал рядом, у самой воды, и какое-то время молчал, глядя туда же, куда смотрел Дан, — в светлеющую даль над морем.

— Всё чисто, — сказал он наконец, вытирая руки. — К пятнице вернут, я прослежу. И слух пойдёт нужный. В порту тебя долго ещё будут вспоминать.

Дан кивнул. Едва заметно.

— Раньше я бы этому радовался, — проговорил он. — Помнишь, Марко? Раньше каждая такая ночь что-то во мне зажигала. Я чувствовал, что живу. А теперь как в вату завёрнутый. Беру этот город за глотку и ничего не чувствую.

Марко посмотрел на него сбоку.

Он знал этого человека двадцать четыре года. Знал одиннадцатилетним мальчишкой, который швырнул за него камень в чужом переулке и протянул руку, каких Марко в своей сиротской жизни не видел. Знал наследником, перед которым сгибались люди вдвое старше. И все эти годы он смотрел, как из друга по капле уходит что-то живое, и год от года его остаётся всё меньше.

У Дана было всё, о чём мечтают люди. Деньги, которых он не считал уже лет двадцать, столько их было. Власть, которой в этом городе не смели перечить. Женщины, любые, стоило поднять палец. Но деньги давно ничего ему не покупали, потому что купить можно лишь то, чего у тебя нет, а у него не было только одного, и оно не продавалось. Власть не грела по ночам. А женщины были для него не радостью и даже не удовольствием, а болезнью, той самой, что жгла его изнутри с мальчишеских лет, гнала из постели в постель и не отпускала ни на одну ночь. Он брал их, чтобы заглушить в себе это, и они глушили на час, как таблетки, как виски, как всё остальное, чем он себя травил.

Самый богатый человек в городе. Самый страшный. И самый пустой.

— Поедем в церковь, — сказал Марко.

Дан свёл брови. Между ними, от давней привычки прожигать людей взглядом и никогда не улыбаться, залегли две глубокие складки — они придавали его лицу вечно грозный вид и прибавляли ему лет. И тонкий белый шрам, рассекавший его правую бровь надвое, натянулся, побелел ещё сильнее. Старый шрам, из тех, что носят всю жизнь. Он был у него столько, сколько он себя помнил, и в минуты, когда Дан хмурился или сжимал челюсть, шрам проступал ясно, как метка, оставленная когда-то чужой рукой. Дан не любил, когда о нём спрашивали. Он никому не рассказывал, откуда он. Он и сам старался не вспоминать ту руку и тот вечер.

— Не начинай, — сказал он.

— Дан.

— Я не поеду. — Голос остался ровным, но Марко услышал под ровностью надлом. — Каждый раз одно и то же. Я стою за оградой, как нищий под чужими окнами, смотрю, как она живёт, и уезжаю ни с чем. Это меня не приближает к ней. Это меня добивает.

— Так подойди к ней, — тихо сказал Марко. — Наконец. Что ты теряешь?

— Что теряю. — Дан обернулся, и в лице его было столько муки, что Марко пожалел, что спросил. — Её. Единственное чистое, что осталось в этом мире. Я подойду, заговорю, и она меня разглядит. Учует, чем от меня пахнет. И посмотрит на меня так же, как весь этот город, — со страхом. Уж лучше пусть не знает меня вовсе, чем я увижу этот страх в её глазах.

Марко замолчал. А потом сказал то, ради чего затеял весь разговор, осторожно, ступая, как по тонкому льду над чёрной водой.

— А если приехать не как ты есть? — Он повернулся к другу. — У них колокольня рушится. Третий год собирают на неё по грошам и никак не соберут. А ты в деньгах тонешь, и они тебе поперёк горла, никакой от них радости. Так дай их на храм. Людям вроде нас, брат, иногда надо отмыть руки. Дай на колокольню, и будет у тебя причина туда ездить. Чистая. Такая, что ни один поп не спросит, откуда серебро, а если и подумает, то смолчит. И будешь видеть её не через ограду. А рядом.

Дан долго смотрел на друга.

Он понимал, что это ловушка, и понимал, кто её ставит, — он сам, чужими руками. Стоит переступить эту черту, войти в её светлый мир не вором, а желанным гостем, и назад ходу не будет. Он знал это так же твёрдо, как знал, что всё равно поедет.

Он достал из кармана блистер, выдал на ладонь таблетки, больше, чем позволял себе даже в худшие дни, и разжевал всухую, запрокинув голову к небу, которое из чёрного стало серым, а из серого понемногу наливалось светом.

— Поехали, — сказал он.

* * *

Церковь встретила их прохладой и полумраком.

После едкого рассвета в порту здесь было тихо и сумрачно. Пахло воском и ладаном, тем древним, устоявшимся запахом намоленного места, и высоко под сводами дрожали огоньки лампад перед тёмными ликами святых. Дан переступил порог и остановился.

Он всегда останавливался на этой черте. Здесь кончался его мир и начинался чужой, тот, куда ему по всем законам, кроме людских, хода не было. Дьявол вошёл в дом Божий, и своды не обрушились ему на голову, лики не отвернулись, и ничего не случилось. Он не почувствовал ни стыда, ни страха. Только глаза его, помимо воли, сразу побежали по храму, ища.

Её не было.

Из боковой двери вышел священник, старик в вытертой рясе, сутулый, с усталым лицом и глазами, которые видели за свою долгую жизнь слишком много, чтобы чему-то удивляться. Он посмотрел на двух вошедших, и Дан понял: этот знает. Знает, кто стоит перед ним, знает, чьи это плечи и чей это взгляд, знает всё, что знает про Дана Радича любой в этом городе. Знал — и не подал виду.

Старик за долгие годы усвоил простую вещь: Господь собирает своё отовсюду, даже из рук, по локоть в грязи, и очищает по дороге. Он поклонился, сложив ладони, и ничего не спросил.

Говорил Марко. Он говорил гладко, почтительно, о том, что они люди верующие, хоть и грешные, что стыдно смотреть, как рушится колокольня, что негоже городу терять свой голос, и что они хотели бы помочь, тихо, без огласки, не ради имени, а ради души. Старик слушал, и усталое лицо его понемногу светлело, и в глазах, привыкших ничему не удивляться, проступило что-то живое.

— Колокольня, — проговорил он, и голос его дрогнул. — Три года я прошу о ней Господа. По грошам собираем, а она всё сыплется, всё крошится, и я боялся, что не доживу до звона. — Он поднял глаза к сводам. — А Он вот как ответил. Через вас.

И тогда открылась дверь во внутренний двор.

Она вошла с корзиной в руках и остановилась на пороге, увидев, что у отца Иллариона гости. Косынка сползла ей на плечи — во дворе, одна, она снимала её, как позволяла себе только без чужих глаз. Свет из дверного проёма ложился ей на спину, выхватывая из церковного сумрака длинные распущенные волосы цвета старого виски.

Он смотрел на неё — и храм, священник, Марко, разговор о колокольне отступили. Осталась только она, с корзиной в руках, ещё не знающая, что в двух шагах от неё стоит человек, у которого этой ночью на руках была чужая кровь.

Он видел её вблизи не в первый раз. Месяц назад, на службе, от её волос качнулся тот запах, который он до сих пор не вытравил из памяти. Она его тогда не заметила. Для неё он был сейчас новым, впервые увиденным.

— А, — обернулся священник. — Мила, дитя моё, подойди. Вот наши благодетели — Данило и Марко. Представь себе, Господь послал нам людей, что берутся спасти нашу колокольню.

Она поставила корзину и подошла. И посмотрела на них.

И вот тогда она увидела его по-настоящему, впервые, и на лице её расцвела такая открытая, светлая, ничем не защищённая радость, что Дану стало не по себе. Она смотрела на него прямо, снизу вверх, без тени страха, без осторожности, без той опасливой оглядки, с какой смотрел на него весь мир. Никто не смотрел на него так уже много лет. На него смотрели со страхом, с почтением, с ненавистью, с жадностью. А эта девочка глядела просто и тепло, всем лицом, всем существом, потому что не знала, кто он, и видела перед собой человека, который пришёл спасти её колокольню.

— Правда? — выдохнула она, и глаза её вспыхнули. — Вы поможете? Господи, спасибо Тебе. — Она порывисто перекрестилась. — Я знала. Я всё время говорила отцу Иллариону, что нельзя терять веру. Вы не представляете, что для меня эта колокольня. Я под ней выросла. Меня сюда принесли совсем маленькой, и я каждое утро просыпалась под этот звон, а когда он смолк, когда стало опасно звонить, во мне что-то оборвалось. Голос у дома пропал.

Она говорила быстро, светло, вся подавшись вперёд, слова текли из неё, и Дан слушал, ловил каждое, и это было мучительнее всего. Он привык не слышать женщин, а брать. Но эту слышал.

— Может, покажешь гостям колокольню? — сказал священник. — И часовню при ней. Пусть поглядят, за что берутся.

— Да, да, конечно. — Она уже шла к узкой лестнице в углу, обернувшись через плечо. — Идёмте. Только осторожно, там ступени старые.

Марко чуть отступил, склонился к священнику — цифры, сроки, формальности. Он не смотрел на Дана, но всё-таки усмехнулся. Дан понял. И пошёл за ней один.

* * *

Лестница вилась вверх узкой каменной спиралью, стёртой за два века тысячами ног. Мила поднималась легко, привычно, а он шёл следом, отставая нарочно, потому что близость в этом тесном каменном горле была невыносима.

— Тут третья ступенька выщерблена, — бросила она через плечо. — Все спотыкаются. А я уж наизусть выучила, где нога проваливается.

Она шла впереди, и на ступеньках подол серого платья приоткрывал щиколотки — тонкие, нежные. Дан прикрыл глаза, отвернулся к стене. Желание отдавалось тупой болью, тянуло изнутри, и он заговорил — просто чтобы заглушить его хоть чем-то:

— Ты часто здесь бываешь? — Это были первые слова, что он ей сказал. Голос вышел ниже, чем он хотел.

— Каждый день. Это моё любимое место на всём свете. — Она не оборачивалась, шла вверх, и голос её летел к нему сверху. — Когда мне грустно или надо что-то обдумать, я поднимаюсь сюда. Отсюда всё видно, и как-то легче делается. Ближе к небу. — Она тихо засмеялась. — Отец Илларион говорит, я слишком много времени провожу наверху вместо работы. Но он не ругается. Он добрый.

Они вышли на маленькую площадку, и она толкнула низкую деревянную дверцу.

Часовня была крохотная, полутёмная, с единственным узким окном, за которым лежал весь залив, всё утреннее море, залитое молодым солнцем. Пахло старым деревом и пылью веков. На стене темнела древняя икона, и перед ней теплилась одна лампадка.

— Вот, — сказала Мила тихо, и вся её торопливость сменилась чем-то благоговейным. — Видите? Я же говорила, что словами не расскажешь.

Дан не смотрел на залив. Он смотрел на неё.

Здесь, наверху, в столбе света из окна, он наконец разглядел её лицо целиком. Чистое, без единой краски, с тем нежным, беззащитным румянцем, что бывает только у очень юных. Мягкие губы. И глаза — большие, тёмные, чёрные, как вода в глубоком колодце. Тёмные глаза на светлом лице, под волосами цвета виски. Он смотрел в них и не мог оторваться.

— Вы совсем не на море смотрите, — упрекнула она, обернувшись. И, поймав его взгляд на себе, вдруг смутилась, залилась краской и затараторила, пряча смущение: — А зря. Тут на закате такое, что дух захватывает. Я один раз так засмотрелась, что хлеб в печи сожгла весь дотла. Отец Илларион потом три дня одни сухари ел и говорил, что это мне епитимья за мечтания. — Она прыснула, прикрыв рот ладонью. — Но вид того стоил, честное слово.

И Дан, который не помнил, когда в последний раз улыбался, почувствовал, как дрогнул уголок его рта.

Он сам этому удивился. Стоял, огромный, в чёрном, с руками, на которых несколько часов назад решалась чужая судьба, и едва не улыбался тому, как эта девочка сожгла хлеб, засмотревшись на закат. Что-то в нём, заржавевшее и забытое за ненужностью, шевельнулось.

Она снова отвернулась к окну, к лодкам, уходящим за мыс, и смех ушёл из её голоса.

— Иногда я смотрю, как они уплывают вон туда, за тот край, — сказала она тише. — И думаю, куда. Что там, за морем. — Она осеклась, испугавшись, торопливо перекрестилась. — Это грех, наверное. Мне нельзя так думать. У меня есть всё, что нужно, я счастлива, я не должна хотеть большего.

— Почему нельзя хотеть, — сказал он.

Она быстро обернулась и тут же отвела взгляд.

Прядь волос упала ей на щеку. И он поднял руку.

Он заправил ей прядь за ухо прежде, чем понял, что делает. Пальцы задержались у виска на миг дольше, чем нужно. Потом он медленно разжал их, опустил руку и отступил на шаг — сам, впервые, когда мог бы и не отступать.

Мила не отпрянула. Она смотрела на него снизу вверх широко раскрытыми глазами, и щеки её заливал румянец, и то, что поднялось в ней в ответ, было ей незнакомо и пугало её саму.

И, глядя ему в лицо так близко, она вдруг сказала, тихо, удивлённо:

— У вас глаза жёлтые.

Дан на секунду прикрыл веки.

— Совсем жёлтые, — повторила она с детским, простодушным изумлением. — Я никогда таких не видела.

Он открыл глаза.

— Цвета виски, — сказал он тихо. — Так мать говорила. Когда я был маленький. — Он редко произносил это слово вслух, мать, оно давно окаменело в нём. — Что у меня глаза цвета виски.

— Виски. — Мила нахмурилась, честно пытаюсь понять. — Я не знаю, что это. — А потом лицо её прояснилось, и она улыбнулась своей находке. — Но они похожи на карамель. На ту, что я варю для торта, когда сахар долго-долго томится и делается вот такой, золотой, тягучий. Точь-в-точь ваши глаза.

И Дан, глава этого города, человек, от взгляда которого седили, чуть не рассмеялся во второй раз за одно утро.

— Я не пробовал твоего торта, — сказал он.

— Так я испеку! — Она вся загорелась этой мыслью. — Обязательно испеку, когда колокольня будет готова. Я так вкусно его пеку, вы не представляете, весь монастырь сбегается. С этой самой карамелью. И угощу вас, в благодарность. Вы только приезжайте.

Она говорила быстро, размахивая руками, рассказывала про свой торт, про то, как томит сахар, как боится, что подгорит, а Дан стоял и смотрел на неё, на это живое, сияющее лицо, и внутри у него всё горело тихим, невыносимым огнём, которому он не знал названия и которого боялся больше всего на свете.

Потому что это была не та болезнь, что жгла его всю жизнь. Это было что-то другое. И оно было страшнее, потому что от той болезни у него были таблетки, а от этого не было ничего.

— Я хочу спросить тебя кое о чём, — сказал он.

— Конечно. — Она обернулась, вся открытая, готовая. — Спрашивайте что угодно.

— Почему ты живёшь в монастыре?

Свет в её лице чуть притих. Она отвела глаза к окну, помолчала, и когда заговорила, голос стал ниже, тише, лишился той торопливой радости.

— У меня никого нет, — сказала она просто. — Я потеряла маму совсем маленькой. Я её почти не помню. Помню только руки и что она пела. — Она сглотнула. — Отец сильно пил. И с мамой обходился... нехорошо. Очень нехорошо. Я была ему не нужна на этом свете, я это знала с тех пор, как себя помню. А потом и его не стало. И я осталась одна совсем.

Дан стоял неподвижно. По его лицу быстро прошла тень, и он сглотнул, сам того не заметив. Отец, который пил и обходился с матерью нехорошо. Мать, которую почти не помнишь, от которой остались только руки и голос. Он знал это. Он знал это так, как знают собственный шрам. У него от матери не осталось и того, ни рук, ни голоса, только пустое место там, где должно было быть лицо, стёртое временем начисто, и он давно перестал пытаться его вспомнить, потому что каждая попытка отзывалась той же тёмной болью, что поднялась сейчас.

Он не сказал ничего. Он не умел говорить о таком. Но что-то в его молчании, в том, как он застыл, было тяжелее любых слов, и Мила, чуткая, взглянула на него удивлённо — она не поняла, откуда в его молчании столько тяжести, но почувствовала её.

— А потом отец Илларион взял меня сюда, — продолжила она мягче. — Не отдал в приют, оставил при храме. Растил. Кормил. Читать научил. Всё, что у меня есть, всё, чем я живу, я получила в этих стенах. — Она обвела рукой часовню, старые стены, лампадку. — Это мой дом. Мой единственный дом. У меня нет в этом мире ни одного человека, который любил бы меня или хотел бы защитить. Есть только Бог. Он всегда был на моей стороне, даже когда не было никого. Поэтому я хочу отдать себя Ему. Принять постриг. Это единственное, чем я могу отплатить за всё.

Мила не догадывалась, как мало знает о мире за оградой. Монастырь, в котором её вырастили, держался старого строгого устава, каких почти не осталось: ни радио, ни телевизора, ни телефона — никаких вестей извне. Полвека назад такие обители стояли по всему берегу, а теперь их осталась горстка — несколько старух, доживающих век по правилам, от которых мир давно отказался. Они и сами отгородились от всего: телевизор считали соблазном, мирские новости — суетой. О десятке монахинь на глухом мысу власти попросту забыли, а отец Илларион держал этот уклад из упрямой веры, что за стеной душу сберечь вернее. Для сестёр мир кончался на монастырской стене. Милу привели сюда совсем маленькой, после того как не стало отца, и она росла тут же, при храме, не ходила ни в какую школу и другой жизни не видела — ни городов за морем, ни того, чем живут люди снаружи, ни простых их слов вроде того «виски», о котором она сегодня услышала впервые. Всё, что у неё было, умещалось между этими стенами, морем и небом.

Дан смотрел на неё долго.

— Так ты идёшь служить Богу, — сказал он тихо, — только из благодарности.

Она осеклась. Открыла рот, закрыла. На лице её проступило замешательство. Он тронул то, чего она сама себе не позволяла касаться.

— Я... — Она запнулась. — Для меня это одно и то же. Это мой дом. Мой храм. Моя защита. Всё это дал мне Бог, и я...

— Выбирать путь из благодарности и идти по нему из призвания — это разное, — сказал он. — Ты должна это понимать. Благодарность — это долг. А призвание — это когда ты не можешь иначе, когда сердце само рвётся туда и ни к чему другому. Это не одно и то же, Мила. Совсем не одно.

Она смотрела на него, и в тёмных глазах её впервые мелькнуло что-то похожее на испуг, на трещину в той ясной уверенности, с которой она жила.

— А как же, — начал он и кивнул на окно, — как же то, что там? За бухтой. Куда уходят корабли, за которыми ты смотришь. Тебе разве не интересно?

Она повернулась к окну. Долго молчала, глядя на далёкий мыс, за который как раз уходила одинокая лодка, становясь всё меньше.

— А что там есть такого, — спросила она тихо, — что мне стоило бы увидеть?

Дан подошёл и встал рядом с ней у окна. Близко. Они вместе смотрели на ту черту, за которую уходили лодки, и он заговорил, сам не зная зачем, он, который цедил слова по капле.

— Там целый мир, — сказал он. — Такой большой, что тебе сейчас и представить трудно. За этим мысом другой берег, а за ним ещё, и ещё, и так без конца. Города, каких ты не видела. Одни стоят по колено в воде, между домами вместо улиц каналы. Другие засыпаны снегом по самые крыши, и снег там лежит даже летом, на вершинах гор. Есть моря теплее парного молока.

Она слушала, приоткрыв губы, не мигая, и лодка за окном всё уменьшалась.

— А люди там живут, — продолжал он тише. — По-настоящему живут. Ходят по улицам, сидят у воды до ночи, смеются. Встречаются. Держатся за руки просто так, потому что хочется. — Он повернул голову и посмотрел на неё. — Целуются. Когда любят.

Мила тяжело задышала. Грудь её поднималась быстрее, и румянец залил щёки, и она не отрывала глаз от его лица. Он говорил на языке, которого она не знала, но который что-то будил в ней, глубоко, помимо воли.

— Я ничего не знаю о любви, — прошептала она. — Совсем ничего. Меня никогда никто... — Она не договорила, опустила глаза. — Я даже не знаю, бывает ли она на самом деле.

Дан смотрел на её опущенные ресницы, на этот беззащитный румянец, и то, что он сказал дальше, вырвалось из него самого, из самого дна, где он это прятал.

— В твоём возрасте многие не знают, что такое любовь, — проговорил он. — Это не беда. — Он помолчал. — Беда, когда её не знают и в моём. Живут долго, берут от жизни всё, что захотят, а этого так и не узнают. И умирают, не узнав.

Она подняла на него глаза, и в них было столько простого, чистого сочувствия, какого ему не доставалось ни разу за всю жизнь. Она не поняла до конца, о чём он. Но она услышала боль. Она всегда слышала чужую боль, эта девочка, выросшая на своей.

— Если хочешь, — сказал он, отводя взгляд, возвращая себе голос, — я дам тебе прочитать одну книгу. Ты многое из неё поймёшь. Поймёшь, что человек должен жить надеждой. Мечтой. Что можно ждать чуда и дожидаться, даже если весь свет смеётся над тобой.

— Книгу? — Она встрепенулась. — А какую? Я не слышала. О чём она?

— «Алые паруса» называется. Прочтёшь — узнаешь.

— А чем она кончается?

Он посмотрел на неё.

— Хорошо, — сказал он тихо. — Она кончается хорошо. Я бы не дал тебе другую.

— Принесите. Пожалуйста. Мне так интересно, вы даже не представляете. Я буду ждать. Буду читать её ночами, при свече, пока все спят. Я никогда не читала человеческих книг.

— По ночам не надо, — сказал он, и это вышло само, эта чужая ему, никогда прежде не жившая в нём забота. — Глаза испортишь. Читай при свете.

Она посмотрела на него удивлённо. А потом улыбнулась, тихо и тепло, и эта улыбка прошла сквозь него насквозь.

— Хорошо, — сказала она. — При свете. Я обещаю.

А внизу, у подножия лестницы, отец Илларион уже звал её по имени.

Глава 4. Благодетель

Неделю спустя он приехал снова.

Стройка кипела. Вокруг колокольни стояли леса, наверху стучали молотки, визжала пила, пахло свежим тёсаным деревом и известью. То, что три года умирало, теперь поднималось из руин, и всё это делали его деньги, и Дан смотрел на это и не узнавал себя.

Отец Илларион вышел навстречу, и лицо его светилось.

— Благодетель наш. — Он поклонился, взял руку Дана в свои сухие ладони. — Мы каждый день за вас молимся, каждую службу. Вы бы знали, что вы для нас сделали. Колокольня к осени зазвонит, я уже и звонаря присмотрел.

— Хорошо, — сказал Дан. И, оглядев двор, храм, не найдя того, что искал, спросил, стараясь, чтобы вышло ровно: — А где Мила? Я обещал ей книгу. Хотел передать.

— На заднем дворе. — Старик улыбнулся тепло. — С ягнятами своими возится. Добрая она у нас душа. Тому ягнёнку, что без матки остался, она вместо матери стала, выпаивает из бутылки, ночами встаёт. — Он махнул рукой в сторону. — Вон из той двери выйдете, направо повернёте, там и двор. Ступайте, сын мой, отдайте ей книгу сами. То-то радости будет.

Дан кивнул и пошёл.

Из той двери. Направо. Он знал эту дорогу. Он знал каждый её поворот, каждую выбоину на тропе, каждый куст жасмина у стены, потому что много недель ходил здесь тайно, как вор, крадся в тени, чтобы издали, из-за ограды, украсть один взгляд на неё и уйти ни с чем.

Но сегодня он шёл иначе.

Он шёл по знакомой тропе спокойно, не таясь. Грудь не сводило привычной тяжестью — то, что поднималось в нём сегодня, было другой породы. Не голод, что гнал его сюда все эти недели. Тепло. Тихое, робкое тепло и надежда, что он сейчас завернёт за угол и увидит её, она поднимет на него глаза и обрадуется. Он шёл к ней как человек, которого ждут. Впервые в жизни его где-то ждали не со страхом.

Он завернул за стену.

И остановился.

* * *

Задний двор поливали. Кто-то пустил воду по трубам, и над грядками, над травой, над всем двором стояла водяная пыль, мелкая, сверкающая на солнце, и в этой пыли, в радуге брызг, бегала она.

Босая, простоволосая, без косынки, в белом льняном сарафане, она носилась по мокрой траве за двумя ягнятами, и те скакали от неё, и она смеялась, ловила их, промахивалась, снова бежала. Вода из поливалок оседала на ней, и лён намок, потемнел, прилип к телу, и Дан увидел то, что видеть было нельзя. Как облегает мокрая ткань её грудь, высокую, налитую, как проступает под тонким полотном каждая линия её тела, юного, крепкого, созревшего под этой монашеской простотой. Волосы её, влажные, потемневшие до цвета мокрого дерева, липли к шее, к плечам, к открытым рукам. Капли дрожали на её ключицах, в ямочках у горла, скатывались ниже.

Она не знала, что на неё смотрят.

Рука сама потянулась к карману.

Он достал телефон, не думая, повинувшись чему-то, что было сильнее рассудка. Поднял, поймал её в кадр. Она бежала за ягнёнком сквозь водяную пыль, смеялась, откидывала мокрые волосы с лица, и он снимал это, снимал её смех, её мокрый лён, её тело в брызгах и радуге, и знал, что это дурно, что это ещё одна кража, что порядочный человек не крал бы её вот так, тайком, на камеру. Но он не был порядочным человеком. Он был тем, кто брал. И если он

не мог взять её всю, он возьмёт хотя бы это, несколько секунд её света, чтобы потом, ночью, наедине с собой и со своим бесом, было чем дышать.

Он опустил телефон. Спрятал в карман, к самому сердцу, эту украденную минуту.

Дан стоял у стены и не мог двинуться. Он смотрел на её мокрое тело в прилипшем льне, на её смех, на её грудь, и бес внутри него встал во весь рост. Дан вцепился пальцами в шершавый камень стены, стиснул зубы, чтобы устоять, чтобы не шагнуть, не броситься, не осквернить.

Он отвёл взгляд. Заставил себя. Поднял глаза вверх, в сторону, лишь бы не смотреть на неё, и взгляд его упал на колокольню. На часовню при ней, ту самую, наверху, что он строил для неё, чтобы она приходила туда счастливой.

Он никогда не знал Бога. Он рос без Него, жил без Него, за тридцать пять лет ни разу не попросил у неба ничего, потому что не верил, что там кто-то есть, а если и есть, то давно отвернулся от таких, как он. Но сейчас, глядя на эту недостроенную часовню, на леса, на кресты куполов вдалеке, он вдруг ощутил себя таким малым, таким бессильным перед тем, что с ним творилось, что слова вывалились сами, тихие, впервые в жизни, обращённые вверх.

— Господи, — прошептал он. — Как же мне тяжело. Помоги мне это вынести.

Он постоял так секунду, с закрытыми глазами. А потом выдохнул, разжал пальцы на камне и сделал шаг ей навстречу.

* * *

Она увидела его.

— Вы приехали! — Она бросила ягнят, подбежала, остановилась в шаге, мокрая, сияющая, запыхавшаяся, и не подумала даже смутиться своего вида, потому что была чиста и не знала за собой ничего, что стоило бы прятать. — Я вас ждала. Каждый день ждала. Посмотрите, посмотрите на часовню, как её строят. Уже и своды укрепили. Отец Илларион говорит, к осени звонить будем.

— Вижу, — сказал он.

— А это Звёздочка. — Она подхватила на руки одного ягнёнка, прижала к груди, и тот ткнулся мордой ей в шею. — У неё мама умерла, вот я её и выкармливаю. Она теперь думает, что я её мама. Ходит за мной всюду, представляете? Даже к службе за мной идёт, приходится в загон запирать, а она блеет на весь храм.

Она смеялась, рассказывала, прижимая к себе ягнёнка, вода стекала по её лицу, по шее, за ворот, и Дан стоял в двух шагах и слушал, и не позволял себе ни коснуться её, ни даже долго смотреть туда, куда рвался взгляд. Он держал руки при себе. Он смотрел ей в лицо, только в лицо, в эти чёрные глаза, и всё равно каждой жилой чувствовал её мокрое тело так близко, и челюсть ходила ходуном от того, как часто он сглатывал, загоняя обратно то, что рвалось наружу.

Это была мука. Настоящая, физическая мука, и никто на свете не видел её, и она стояла ему всего, что в нём было. Он боролся с бесом голыми руками, здесь, посреди мокрого двора, под её счастливый смех, и держался, держался только потому, что не мог иначе. Потому что она была той единственной, кого он скорее умер бы, чем тронул грязными руками.

— Я привёз тебе книгу, — сказал он, когда смог говорить ровно.

Он достал из кармана «Алые паруса», старую, зачитанную, и протянул ей. Она опустила ягнёнка на траву, вытерла руки о сарафан и взяла книгу обеими ладонями, бережно, как берут святыню.

— «Алые паруса», — прочитала она шёпотом. — Та самая. Вы помнили. — Она подняла на него глаза, и в них стояли слёзы. — Мне никто никогда ничего не дарил. Вы первый.

— Прочти, — сказал он. — Не спеша. А как прочтёшь, я приеду, и ты расскажешь мне, что поняла.

— А когда вы приедете? — Она прижала книгу к груди, и лицо её было полно нетерпения. — Я быстро прочту, честное слово. Я уже сегодня начну.

— Мне нужно отлучиться по делам. — Он помолчал. — Дня через три, четыре. Тебе как раз хватит времени. Заодно посмотрю, как идёт стройка.

— Три дня, — повторила она, и в голосе была тихая печаль, которую она не сумела скрыть. — Хорошо. Я буду ждать. И книгу прочту, и всё-всё вам расскажу.

— Читай при свете, — сказал он. — Не по ночам.

Она улыбнулась сквозь эту свою печаль.

— При свете, — кивнула она. — Я помню.

Он ушёл, не оглядываясь. Он знал, что если обернётся, если ещё раз увидит её, мокрую, с книгой у груди, стоящую посреди сверкающего двора, он не сможет уехать. А ему надо было уехать. Немедленно. Пока бес, которого он держал из последних сил, не сорвался с цепи прямо здесь, в доме Божьем, у неё на глазах.

* * *

Он вернулся домой затемно.

Двое суток без сна лежали на нём всей тяжестью. Он поднялся к себе, разделся, встал под душ и долго стоял под горячей водой, упершись ладонями в кафель, пытаясь смыть с себя этот день, её мокрый смех, её тело в прилипшем льне, воду, стекавшую по её ключицам. Не смывалось.

Он вышел из ванной, не вытираясь толком, с влажными волосами, и вода ещё блестела на его плечах, на груди, стекала по животу. Тело у него было тяжёлое, крупное, литое, из тех, что берут не залом, а весом, и под кожей перекачивались мышцы, когда он двигался, и по всему этому телу шли отметины прожитой жизни, старые шрамы, следы того, кем он был. Член стоял. Опять. Весь день, с той самой минуты у мокрого двора, и вода не помогла, и ничто не помогало как всегда.

Он упал на кровать навзничь, вымотанный до предела, закинул руку за голову. Натянул на бёдра прохладную шёлковую простыню и лежал так, глядя в тёмный потолок, слушая, как внизу бьётся о скалы море.

Он закрыл глаза — и она была там.

Мокрый лён на груди. Капли в ямочках у горла. Чёрные глаза, поднятые к нему. Её смех. Он лежал, и она стояла под веками, и бес поднимался в нём, тот, что не спал никогда.

Он потянулся к пиджаку, брошенному на кресло. Достал телефон. Нашёл то, что снял сегодня во дворе. Украдкой.

Она бежала по экрану сквозь водяную пыль, смеялась, откидывала мокрые волосы. Живая. Светлая. Его.

Он смотрел на неё, и жар разливался по нему, тяжёлый, тёмный, и рука сама легла на живот, ниже, под простыню на член. Он не думал ни о чём. Он смотрел на неё и горел.

И сквозь этот огонь, сквозь всё, что рвалось из него, поднялось другое, и он выдохнул в темноту, почти беззвучно, глядя на её смех на маленьком экране:

— Как же я тебя хочу.

— Но я скорее сдохну, чем трону тебя. Слышишь? Никогда не причиню тебе зла. Всегда буду тебя защищать. Всегда.

Он запрокинул голову, и рука двинулась, он позволил себе, наконец, эту малость, эту тень того, чего не мог взять наяву, глядя на её свет и шепча ей клятву, которую она не слышала.

И в этот самый миг за дверью раздался стук каблучков.

Он узнал эти шаги мгновенно. Ровные, уверенные, неспешные. Так по его дому ходила только одна женщина.

Он открыл глаза. Кровь ещё стучала в висках, тело ещё горело, а он уже сел на кровати, стиснув зубы, телефон погас в его руке, и лицо его закрылось, стало тем каменным лицом, которое знал весь город.

Дверь отворилась.

На пороге, в чём-то тёмном и облегающем, с той спокойной хозяйской уверенностью, что бывает только у женщины, привыкшей приходить сюда без спроса, стояла Ева.

— Ты не звонил уже три дня, — сказала она, подходя к кровати. — В чём дело? Неужели не скучал?

Она потянула простыню вниз, медленно, глядя ему в глаза. Член стоял, твёрдый, и она усмехнулась.

— О-о-о, нет. Скучал. Ты всегда начинаешь скучать, стоит тебе меня увидеть. — Она склонила голову. — Помочь тебе?

Он выдохнул, прикрыл глаза и откинулся на кровати.

— Давай. Глубже и до конца, чтоб потемнело в глазах. Никто не берёт так, как ты.

Ева улыбнулась. Она склонилась к нему, волосы рассыпались по его бёдрам, и губы обхватили его, горячие, уверенные, с той властной нежностью, что за два года выучила каждый его вздох. Язык скользил медленно, горло расслаблялось, принимая глубоко, целиком. Дан зарычал, пальцы вцепились ей в волосы.

Он задрал подол её платья, рука грубо скользнула между ног, и пальцы сразу наткнулись на горячую, уже мокрую плоть. Он отодвинул ткань в сторону и вогнал два пальца, резко, глубоко, двигая рукой в такт тому, как она работала ртом.

Ева застонала вокруг него, и стон прокатился по нему дрожью. Она была мокрой, готовой, но спина оставалась прямой, движения точными. Даже сейчас в ней не было ничего сломленного. Женщина, которая выбирала его по своей воле.

Он закрыл глаза, и за веками мгновенно встала другая. Мокрый лён, чёрные глаза, смех сквозь водяную пыль. Ярость на самого себя ударила изнутри, и он двинулся жёстче, грубее.

— Иди сюда. — Он выдернул себя из её рта.

Сильные руки схватили её за бёдра и рывком посадили ему на лицо. Ева ахнула, платье задралось до талии, а его рот уже впился в неё, язык ворвался глубоко, губы сосали клитор, зубы чуть прикусывали нежную плоть. Он ел её жадно, яростно, рыча в её кожу, пока она извивалась над ним.

— Дан... — простонала она. — Весь мой. Ты моё безумие.

Не отвечая, он крутанул её на себе, развернул спиной — головой к своим ногам, — и снова притянул бёдрами к лицу. Теперь его член был у её губ. Ева тут же взяла его в рот, глубоко, одной рукой обхватив у основания, а он опять впился в неё, пальцами раздвигая ягодицы, заходя языком глубже. Грязно. Жадно. Оба задыхались.

Бес сейчас был сильнее. Под его властью Дан был готов на всё. Тело ломило от желания — того, что выматывало его год за годом, и с которым он ничего не мог поделать.

Он не выдержал первым. Сорвался, перевернул её на спину, стянул с неё остатки одежды. Раздвинул бёдра до предела и вошёл резко, на всю глубину. Ева выгнулась, и вскрик застрял у неё в горле. Он задвигался глубоко, жёстко, каждый удар тяжёлый, кровать скрипела, и её тело подавалось под ним.

Он держал её за горло, не сильно, но властно, глядя ей в глаза.

— Ты моя, — рычал он, вбиваясь в неё. — Моя женщина.

Он говорил это и знал, что лжёт. Слово было не о ней. И оттого вбивался яростнее, чтобы хоть на миг оно стало правдой.

Ева обхватила его ногами, ногти впились в спину.

— Сильнее, — выдохнула она. — Вымести на мне всё. Я выдержу. Я люблю тебя даже такого.

Её «люблю» прошло мимо, как проходило всегда. Ответить было нечем: всё, что он мог дать, он берёт для той, кого не смел коснуться.

Он ускорился, движения стали отчаянными, дикими. Пот тёк по шее, мышцы сводило. Она сжималась вокруг него, он зарычал и вогнал в последний раз, до упора. Они кончили вместе, Ева закричала, тело её сотрясало.

Он не отпустил её сразу. Ещё несколько секунд вдавливал бёдра в матрас, пока последние судороги выжимались из него. Потом медленно выскользнул, и густая белесая жидкость потекла по её внутренней стороне бедра. Ева лежала с закрытыми глазами, грудь тяжело поднималась, губы приоткрыты, на шее уже темнел след от его пальцев.

Минута. Только минута тишины, в которой слышно было лишь их дыхание и далёкий шум города за окном. Дан смотрел на неё сверху — на влажную кожу, на растрёпанные волосы, на то, как её бёдра всё ещё слегка подрагивают. И пустота внутри только росла. Бес не насытился. Он никогда не насыщался. Он лишь облизнулся и снова поднял голову, требуя большего, жёстче, глубже, пока не станет совсем больно.

Дан сел. Ноги коснулись пола. Холод прошёл по спине. Он встал, голый, всё ещё полутвёрдый, и подошёл к прикроватной тумбочке. Выдвинул ящик. Резинка. Он взял её пальцами, разорвал упаковку зубами, и латекс зашуршал в тишине, как обещание.

Он стоял у тумбочки, раскатывая латекс по-своему уже снова тяжёлому, набухшему члену. Ева перевернулась на живот, повернула к нему голову — и смотрела. Она знала. Два года — и она выучила его лучше, чем собственное тело. Резинку Дан натягивал только тогда, когда хотел её зад. Только тогда. И от этой мысли у неё сразу свело низ живота сладкой, грязной дрожью. Она улыбнулась, медленно закусив нижнюю губу, и не отрывала глаз.

Когда он выдавил смазку на ладонь и начал водить кулаком по стволу — грубо, быстро, с каким-то почти злобным удовольствием, — Ева смотрела, не моргая. Смотрела, как блестит латекс, как напрягаются вены на его предплечье, как головка набухает ещё сильнее. И между её ног снова стало мокро. Жарко. Она почувствовала, как влага стекает по внутренней стороне бедра, и тихо выдохнула.

Дан поднял на неё глаза. Тёмные. Голодные. Чуть безумные.

— Зад. Подставь мне.

Голос сорвался, хриплый, почти звериный.

— Дай мне ту дырку. Я хочу её сегодня. Этот чёртов хер задрал меня своим вечным «хочу». Меня уже тошнит от того, что я всё время хочу. Тошнит! А успокоиться не могу. Подставляй, я сказал. Шире.

Ева поднялась, прогнулась, уткнулась лицом в подушку, и сама раздвинула ягодицы пальцами. Её розовое, чуть припухшее колечко пульсировало, блестело от влаги, и от одного только вида у Дана дёрнулся член так сильно, что он тихо выругался сквозь зубы.

Он приставил головку к её заднице. Нажал.

И вошёл.

Медленно. Жестоко. Сантиметр за сантиметром, растягивая тугое кольцо, пока оно не сомкнулось вокруг него почти до боли. Ева застонала — низко, сорванно, — и это был самый сладкий звук, который он слышал за весь вечер.

— Блядь... — он смотрел вниз, заворожённый, помешанный. — Какая узкая. Глубже. Я хочу ещё глубже. Чувствуешь, как я тебя разрываю?

— Да... — выдохнула она в подушку. — Я хочу чувствовать, как ты сходишь с ума от моей дырки. Хочу, чтобы тебе было больно от того, какая я тугая...

Он рыкнул и вогнал себя до основания одним жёстким толчком. Её кольцо сжалось вокруг него так сильно, что у него на секунду потемнело в глазах. Горячая, пульсирующая плоть стискивала каждый сантиметр, и Дан потерял остатки рассудка.

Он начал двигаться. Грязно. Бешено. Безжалостно.

Каждый толчок — до конца. Каждый выход — почти полностью, чтобы потом снова вогнать себя в эту узкую, жадную дырку до самого корня. Кровать билась о стену. Ева кричала в подушку, подаваясь назад, требуя ещё.

— Сильнее... Дан... сильнее... — стонала она, голос уже почти нечеловеческий. — Еби меня. Я люблю, когда ты такой...

— Заткнись, — прорычал он, вцепляясь ей в бёдра до синяков. — Просто сжимай. Сжимай меня этой чёртовой дыркой. Души меня. Обожаю, когда тебе больно и хорошо одновременно. Кричи. Громче.

Он вбился до упора — и на секунду замер, давая ей почувствовать, как толстый член полностью заполняет её. Потом медленно, мучительно медленно начал выходить. Головка выскользнула последней, и Дан замер, глядя вниз.

Её розовое очко осталось раскрытым. Растянутым. Пульсирующим. Края слегка подрагивали, ещё храня форму его члена, и изнутри блестела смазка. Он смотрел на это, как помешанный. Не моргая. Дыхание сбилось.

Ева взвыла.

— Нет, Дан... я тебя умоляю... до конца добей... не останавливайся...

Он не ответил сразу. Только смотрел. Смотрел на эту раскрытую, мокрую, жадную дырку, которая всё ещё сокращалась вокруг пустоты. Он облизнул пересохшие губы. Голод поднялся снова, тяжёлый, мутный, и стёр остатки его воли.

За всю его чёрную жизнь единственной, кто выдерживал самые грязные, самые извращённые его выходки, была она. Ева. Не было на свете женщины, которая трахалась бы так, как она: без стыда, без предела, принимая любую его тьму и прося ещё. Это и держало его на крючке два года. Не она сама — а то, что она с ним творила. Его зависимость, которую он презирал в себе так же сильно, как не мог от неё отказаться.

И сейчас он был как ополоумевший. Бес держал его за яйца, и он слепо, покорно исполнял любое его желание. То, что врачи называли гиперсексуальным расстройством, он про себя звал бесом — и порой этот бес накрывал его так, что в себя он приходил уже после, посреди разгрома, и сам ужасался тому, что натворил. Сейчас было именно так. Он не принадлежал себе.

— Сожми зад, — прорычал он низко, почти зверино. — Сделай его опять узким. Хочу видеть, как ты собираешь эту дырку специально для меня.

Ева всхлипнула и начала сокращать мышцы. Медленно. Старательно. Её розовое кольцо постепенно стягивалось, пульсировало, пыталось снова стать тугим. Дан смотрел, заворожённый, и вдруг резко ударил её ладонью по ягодице. Звонкий, жёсткий шлепок. Кожа вспыхнула красным.

Ева засмеялась — коротко, сорванно, от чистого удовольствия — и сразу же застонала, когда жжение разлилось по коже.

— Сокращай, — крикнул он, не отрывая глаз от её зада. — Я сказал тебе, собери её. Сильнее.

Она сжалась сильнее. Кольцо стало уже, туже, почти сомкнулось. Дан усмехнулся — тёмно, удовлетворённо, — и в тот же миг вогнал себя обратно. Резко. До самых яиц. Одним безумным толчком.

Оба закричали.

Ева — громко, хрипло, почти срывая голос, когда её только что собранное очко снова растянулось вокруг толстого члена до предела. Дан — низким, звериным рыком, потому что тугость ударила его по нервам, как удар тока. Он начал двигаться сразу, без паузы. Глубоко. Жёстко. На разрыв.

— Вот так... блядь... вот так и надо... — рычал он, глядя, как её зад принимает его снова и снова. — Сжимаешь меня, будто хочешь выдоить. Какая же ты узкая... Обожаю. Ещё... Сожми сильнее, когда я выхожу. Сожми!

— Да... да, Дан... — стонала она, подаваясь назад навстречу каждому толчку. — Еби... еби меня... я вся твоя... сильнее... ещё сильнее...

Он навис над ней и брал уже рвано, загнанно, теряя счёт толчкам. Пот капал с него ей на поясницу. Ева билась под ним, комкала простыню, и с каждым ударом из неё рвался короткий, задушенный вскрик.

— Кричи громче, — прорычал он, шлёпнув её ещё раз по уже красной ягодице. — Хочу слышать, как тебе нравится, когда я трахаю тебя в зад. Сожми. Ещё раз. Сейчас... я уже...

Ева сжалась вокруг него изо всех сил — и Дан потерял голову. Он наклонился, накрыл её собой, одной рукой обхватил горло, слегка сдавливая, а пальцами другой нашёл её клитор и начал кружить грубо, быстро, без жалости. Ева сорвалась с громким, сорванным криком. Её кольцо запульсировало вокруг его члена судорожными, горячими сжатиями, и этого хватило.

Дан вогнался ещё дважды — до предела, до боли, до безумия — и кончил с рыком, почти звериным, вжимая её лицом в постель, пока оргазм не выжег из него всё дотла.

Потом — только их сорванное, хриплое дыхание.

И снова та же чёрная, знакомая пустота. Он лежал, выжатый досуха, и с закрытыми глазами видел не ту женщину, что дышала рядом, а другую — светлую, за морем, к которой не смел прикоснуться. Опять взял не ту. Опять пытался чужим телом заглушить то, что ныло по ней, — и оттого, что не вышло, что она всё равно стояла в нём, нетронутая, его накрыло глухой злостью на себя. Он стиснул зубы, так что заломило скулы.

Потолок плыл в темноте.

Долго оба молчали. Он лежал на спине, не касаясь её, и слушал, как выравнивается рядом чужое дыхание. Между ними стояло то, чего не случилось за два года: оба его чувствовали и оба молчали о нём.

Ева повернулась, провела пальцами по его щеке и не убрала руку. Так держат не любовника. Так держат то, что боятся потерять.

— Что-то изменилось, — сказала она тихо.

— Ничего не изменилось.

— Дан. — Она приподнялась на локте. — Ты не смотрел на меня. Ни разу за всё время. Ты даже целовать меня не хочешь. Я два года с тобой. Я знаю, когда ты со мной, а когда нет. Сегодня тебя тут не было. Давно нет. Сегодня был просто сухой секс. Что происходит?

Он повернул к ней голову. Долгий тяжёлый взгляд пробил насквозь.

— Иди домой, Ева. Поздно. Марко внизу.

Она смотрела на него ещё несколько секунд. А потом молча поднялась, оделась и вышла. Не хлопнув дверью. Она была слишком взрослой для этого. Но когда обернулась на пороге, в глазах её впервые стоял страх. Тихий, глубокий страх женщины, которая поняла, что теряет, но не понимала почему.

Дверь закрылась.

Дан лежал один в остывающей постели. Час назад он шептал Миле клятву защиты, глядя на её смех в маленьком экране. А потом взял другую, вымотал себя в ней до пустоты, и клятва, данная в темноте, звенела теперь фальшью, которую он слышал до ломоты в зубах.

Раньше после Евы приходил покой. Сейчас пришла только тошнота.

Глава 5. Ассоль

Монастырь спал.

Давно отзвучала вечерняя молитва, давно разошлись по кельям сёстры, погас свет в трапезной, и только море внизу не спало никогда, било и било в скалы, и этот звук был Миле колыбельной с тех пор, как она себя помнила.

В её комнатке было темно. Она задула бы и ту свечу, что горела на табурете у изголовья, если бы могла, потому что свет по ночам не полагался, и если бы сестра Марта увидела полоску под дверью, вышло бы неловко. Но Мила не могла. Она сидела на узкой постели, подтянув колени, закутавшись в шаль, и книга лежала у неё на коленях, раскрытая, и оторваться от неё не было сил.

Он просил читать при свете. Не по ночам. Она помнила. И всё равно вот уже третью ночь зажигала свечу, когда все засыпали, и читала, пока воск не оплывал до самого блюдца, потому что днём было слишком много дел, а ночью книга была только её, и никто не мог отнять эти несколько тайных часов.

Она читала медленно. Не потому, что читала плохо, отец Илларион хорошо её выучил, а потому что каждое слово хотелось прожить, задержать, не пропустить. Это была первая светская книга в её жизни. До этого она читала только жития, псалтырь, молитвослов, а тут был целый мир, живой, земной, полный моря и людей, и она входила в него осторожно, как входят босиком в холодную воду.

Книга подходила к концу.

Мила знала, что подходит, и оттягивала, читала медленнее, боялась дочитать, потому что тогда всё кончится. Но страницы всё равно убывали под пальцами, и вот осталось совсем немного, и она затаила дыхание.

Девочка из книги, та, над которой смеялась вся деревня, та, которой чужой старик когда-то предсказал, что однажды за ней придёт корабль под алыми парусами и увезёт её в новую жизнь, — эта девочка выросла, так и не дождавшись, и все вокруг считали её тронутой, полоумной, потому что она верила в свою сказку, когда верить было нечему и незачем.

А потом наступило то утро.

Мила читала, и сердце у неё колотилось, и она забыла про свечу, про сестру Марту, про то, что давно пора спать. Море в книге вспыхнуло алым на рассвете. Корабль шёл к берегу под парусами цвета зари, огромный, невозможный, тот самый, обещанный, и вся деревня высыпала на берег, не веря глазам, а девочка бежала к воде, задыхаясь, и бросалась в волны навстречу этому кораблю, и кричала, что это она, это за ней, что это её всю жизнь ждали и наконец пришли. Мечта, над которой смеялись, оказалась правдой. Одинокую, никому не нужную девочку, которая просто верила и ждала, любовь нашла и подняла из её нищей, серой жизни, потому что она этого дождалась.

По щеке Милы скатилась слеза.

Она и не заметила, как заплакала. Слеза упала на страницу, на самый край, и Мила торопливо вытерла её пальцем, чтобы не размочить бумагу, чужую, драгоценную. И ещё одна упала следом.

Она опустила книгу на колени и подняла глаза.

За окном была ночь, и море, и далёкие огни на том берегу бухты, и небо в редких звёздах. Мила смотрела туда, в темноту, и внутри у неё было так полно и так больно, что она не знала, куда это деть.

— А я никогда, — прошептала она в темноту, одними губами, — никогда ни о ком не мечтала.

Слова вышли тихие, и правда в них была такая простая и такая горькая, что всё сжалось.

Ассоль ждала свой корабль. Ассоль верила, что за ней придут, что где-то есть тот, кто её любит, кто плывёт к ней через все моря. А Мила не ждала никого. Она никогда не позволяла себе даже подумать, что кто-то может прийти за ней. Что кто-то может её выбрать, полюбить, увезти. Ей это и в голову не приходило, потому что зачем мечтать о том, чего не бывает с такими, как она. Сироты, найдёныши, дети пьяниц не ждут кораблей под алыми парусами. Они благодарны и за то, что их не выгнали на улицу, что их накормили, что им дали угол и научили молиться.

Она не роптала. Она правда была благодарна, всем сердцем, отцу Иллариону, храму, Богу, который её не оставил. Но сейчас, ночью, с этой книгой на коленях, впервые за всю свою жизнь Мила подумала о том, о чём думать себе запрещала.

Она подумала, что идёт в монастырь не потому, что рвётся туда душа.

А потому, что больше ей некуда идти.

Мысль была страшная, и она отшатнулась от неё, испугалась, зажмурилась. Это грех. Это неблагодарность. У неё есть дом, у неё есть вера, у неё есть отец Илларион, который любит её как родную. Она счастлива. Она должна быть счастлива. Кто она такая, чтобы хотеть большего, чем ей дано.

Но слеза всё катилась, и книга лежала на коленях, и корабль под алыми парусами всё плыл к берегу за той, другой девочкой, которая посмела мечтать, — а Мила сидела в темноте и впервые в жизни чувствовала, как это одиноко, когда за тобой никто никогда не плыл.

И тогда, помимо воли, перед ней встало его лицо.

Тот человек. Данило. Его жёлтые глаза цвета карамели, его тяжёлый взгляд, от которого ей отчего-то не было страшно, хотя, наверное, должно было быть. Она не понимала, почему думает о нём именно сейчас, читая про чужую любовь. Не понимала, почему до сих пор помнит то лёгкое касание его пальцев в часовне, когда он заправил ей прядь за ухо, — помнит так ясно, до последнего пальца, до последней секунды.

Это он дал ей книгу. Он один за всю её жизнь принёс ей подарок. Он говорил с ней о море, о дальних городах, о людях, которые любят и целуются, не боясь. Он смотрел на неё так, как никто не смотрел, и от этого взгляда ей делалось и тепло, и тревожно.

Мила прижала холодные пальцы к щекам.

— Господи, — прошептала она. — Что это со мной.

Она не знала. У неё не было слов для того, что поднималось в ней, потому что ей никто никогда не рассказывал про такое, а сама она не умела это назвать. Она знала названия семи смертных грехов, знала все молитвы наизусть, знала, как поститься и как каяться. Но того, что творилось в ней этой ночью, не было ни в одной её книге, кроме этой, чужой, светской, лежащей у неё на коленях.

Она перекрестилась. Раз, другой. Зашептала молитву, торопливо, чтобы прогнать, чтобы вернуть себе тот ясный покой, в котором она жила ещё неделю назад, до того, как в её двор вошёл человек в чёрном и всё сдвинулось с места.

Молитва не помогала. Впервые в жизни молитва не помогала, и это испугало её больше всего.

Она задула свечу. Легла, натянула шаль до подбородка, свернулась в темноте маленьким комочком и лежала, глядя в чёрный потолок, слушая море.

Она была сирота. Она была одна на всём свете. Она не ждала корабля и не верила в алые паруса, потому что жизнь научила её не ждать ничего.

Но той ночью, где-то на самом дне её сердца, куда она боялась заглядывать, что-то тихо, робко, против её воли начало ждать.

Она уснула под утро, и ей снилось море, красное от зари.

* * *

Утро пришло серое и тихое, с моря натянуло туман, и колокольня стояла в нём по пояс, отрезанная от земли.

Мила почти не спала. Под утро провалилась ненадолго в тот сон про красное море, а на рассвете уже поднялась, как поднималась всегда, раньше всех, до первого удара била к молитве. Глаза щипало от бессонной ночи, от свечи, от слёз, которых она стыдилась теперь при свете дня. Книга лежала под подушкой, дочитанная, и Мила старалась о ней не думать, потому что стоило подумать — и внутри опять поднималось то самое, ночное, чему она не знала имени.

Она ушла с головой в работу, чтобы не думать. На стройке всегда было чем занять руки.

К полудню туман сошёл, и солнце вычистило двор добела. Мила стояла у стены звонницы, наполняла ведро известью из чана, и ляпка сарафана сползла с плеча, и прядь лезла в глаза, а руки были заняты, и отвести её было нечем. Она не слышала, как во дворе стало тише. Как смолкли разговоры рабочих, как кто-то выпрямился, а кто-то опустил глаза. Она стояла спиной ко всему двору и черпала известь, и думала о своём.

А потом за спиной у неё стало тепло.

Он подошёл сзади, близко, и она не услышала шагов, только почувствовала, как воздух за плечами сгустился, налился чужим присутствием. Большая рука легла поверх её руки на дужке ведра. Он наклонился к ней, через плечо, всем своим ростом, всей тяжестью, обошёл её собой, не касаясь, и всё же окружив, — и выдохнул ей в шею, туда, где между волосами и ляжкой была открытая полоска кожи.

Мила прикрыла глаза. И в темноте под закрытыми веками её накрыл его запах — тёплый, тёмный, горьковато-сладкий, не похожий ни на воск, ни на ладан, ни на что из её жизни. Она вдохнула его — один раз, невольно — и на миг перестала понимать, где стоит и кто она.

Дрожь прошла по ней сверху вниз, от того места на шее, куда он дохнул, до самых пят, колени ослабли, и она не поняла, что это с ней, откуда, почему от одного тёплого выдоха тело отзывается так, точно её тронули всю разом. Она стояла, не двигаясь, с закрытыми глазами, и держала ведро, а он держал её руку поверх её пальцев, и это длилось секунду, две, три, и ни один из них не отнял руки.

А он стоял над ней вплотную и чувствовал, как она замерла под его рукой, как дрожит и не отстраняется. Бес толкнул изнутри: *ближе. Прижми. Накрой её всю — она даже не поймёт. Одно движение.* Дан стиснул зубы и не сделал его.

Она подняла на него глаза.

Он был так близко, что ей пришлось запрокинуть голову. Он забрал ведро из её ослабевших пальцев, легко, точно оно ничего не весило, и отставил в сторону.

— Тебе нельзя, — сказал он тихо.

— Что нельзя? — Голос у неё вышел не свой.

— Носить тяжести. — Он смотрел на неё сверху вниз, и жёлтые глаза его были совсем близко. — Я не хочу, чтобы ты таскала эти вёдра.

Мила растерянно засмеялась, пытаясь вернуть себе землю под ногами.

— Так ведь благодетель тоже носит, — сказала она. — Я сама видела. В прошлый раз вы у меня ведро забрали и через весь двор несли.

Он повернулся к ней. И в лице его мелькнуло тёмное и тёплое.

— Так-то благодетель, — сказал он. — Мужчина. И вдвое больше тебя, не меньше.

— И правда большой, — согласилась Мила серьёзно, оглядев его снизу доверху. — Едите, наверное, как великан. За троих. — И, не удержавшись, засмеялась.

Дан смотрел на неё сверху. В этом городе над ним не смеялись: при нём понижали голос и отводили глаза. А эта девочка стояла перед ним, перепачканная известью, и хохотала ему в лицо, звала великаном — и ни капли не боялась. И оттого, что она совсем его не боялась, ему впервые за долгое время стало легко, и он с трудом сдержал улыбку.

— Смейся, смейся, — проговорил он и помолчал, глядя на её сползшую лямку, на тонкое плечо; и голос его стал серьезнее. — А к стройке больше не подходи. И тяжёлого не поднимай. Здесь для этого достаточно людей. Я как раз и плачу им за то, чтобы ты этого не делала.

Он сказал это ровно, почти строго, и Мила смотрела на него, хлопая глазами, и не знала, что ответить. Никто в её жизни не говорил ей такого. Её всегда о чём-то просили, ей всегда что-то поручали, она всегда была той, кто носит, моет, встаёт раньше всех и ложится позже всех, потому что сирота при храме должна отрабатывать угол и хлеб. А этот человек пришёл и сказал: не носи. Не поднимай. Я не хочу.

От этой заботы, простой и грубоватой, у неё зашипало в носу, и она сама испугалась, что вот сейчас, посреди двора, при всех, расплатится непонятно из-за чего.

Он это увидел.

— Пойдём, — сказал он и кивнул в сторону от стройки. — Пройдёмся немного.

* * *

За церковью, вдоль старой ограды, шла кипарисовая аллея.

Её посадили ещё при прежнем настоятеле, давно, и кипарисы вымахали высокие, тёмные, стояли двумя ровными рядами, и между ними лежала тропа, засыпанная сухой хвоей и мелким белым камнем. Днём здесь была тень и прохлада, пахло смолой и нагретой землёй, и с одной стороны, сквозь просветы между стволами, вдалеке синело море, а с другой тянулась щербатая каменная стена, вся в плюще и в жёлтых пятнах лишайника. Сюда почти никто не заходил. Отец Илларион называл это место «моя пустынь» и любил гулять здесь один, читая молитву по чёткам.

Они пошли по тропе, и хвоя мягко проседала под ногами.

Мила шла рядом с ним и всей кожей чувствовала, какой он большой. Она едва доставала ему до плеча. Рядом с его ростом, с его тяжёлыми плечами в чёрном, с этой его молчаливой, спокойной силой она казалась себе совсем маленькой, девочкой, подростком, и это было странное чувство — не страх, а что-то другое, от чего хотелось идти ближе, а не дальше.

— Ты дочитала книгу? — сказал он.

— Дочитала. — Она вскинула на него глаза и тут же опустила. — Третьей ночью.

— По ночам, — заметил он.

— По ночам, — созналась она и вздохнула. — Простите. Я не удержалась. Днём совсем нет времени, а ночью она была только моя.

Он ничего не сказал на это, но уголок его рта дрогнул, и Мила это заметила и почему-то обрадовалась, точно сделала что-то хорошее.

— И как? — спросил он.

Мила замедлила шаг. Она думала об этом всю ночь и всё утро, и слова у неё были готовы, но выговорить их оказалось труднее, чем она думала.

— Хорошая книга, — сказала она наконец, тихо. — Очень хорошая. Так хорошо кончается, что я плакала. Она всю жизнь ждала и дождалась, и корабль пришёл, и всё сбылось. — Она помолчала, глядя под ноги, на белый камень и рыжую хвою. — Только, наверное, в жизни так не бывает.

Он остановился.

И она остановилась тоже, и подняла на него глаза, потому что он смотрел на неё сверху, долго, и от этого взгляда в ней снова поднялось то ночное, безымянное.

— Отчего же не бывает, — сказал он.

Мила растерялась. Она не ждала, что он спросит. Она думала, он согласится, — взрослый человек, повидавший мир, он-то знает, что сказки остаются сказками.

— Оттого, — сказала она, подбирая слова, — что мне ведь только девятнадцать. И я скоро посвящу себя Богу. Приму постриг. Мне о таком и думать не стоит. Про корабли, про

то, чтобы кто-то пришёл. Это не для меня. Это для тех, у кого впереди мир, а у меня впереди — служение.

Он смотрел на неё, не отводя глаз.

— Тебе не стоит об этом думать, — проговорил он медленно. — Или ты не хочешь?

Мила открыла рот. И закрыла.

Он опять сделал это — тронул то самое место, куда она сама боялась заглядывать, спросил то, чего она сама себе не задавала вслух. Не стоит или не хочешь. Она стояла перед ним, маленькая, запрокинув голову, и смотрела в его жёлтые глаза, и от этих глаз, близких, тёплых, внимательных, ей было хорошо.

— Я даже не могу вам ответить, — сказала она честно, тихо, глядя ему прямо в лицо. — Эти ваши жёлтые глаза... они вызывают во мне какие-то странные чувства. Я не понимаю их. Когда вы так смотрите, я забываю, что хотела сказать.

Она сказала это и сама испугалась своей смелости, залилась краской до самых ушей.

А он засмеялся.

Не усмехнулся, не дрогнул углом рта, как раньше, — засмеялся, коротко, низко, живо, и от этого смеха лицо его переменялось, помолодело, растеряло всю свою каменную тяжесть. Он отошёл к скамье под кипарисом, старой, вросшей в землю каменной скамье, и сел на неё, и посмотрел на Милу снизу вверх, и в глазах у него плясало что-то мальчишеское.

— Ну хорошо, — сказал он. — Раз мои глаза тебе мешают. Давай так. Мы будем с тобой разговаривать, а я закрою глаза. И тогда ты сможешь мне отвечать.

Мила прыснула.

А потом рассмеялась — по-настоящему, громко, звонко, запрокинув голову, так, как не смеялась, наверное, никогда в жизни, потому что никогда в жизни ей не было так легко и так странно хорошо. Смех рвался из неё, она прикрывала рот ладонью и не могла остановиться, и слёзы выступили у неё на глазах, слёзы от смеха, лёгкие, счастливые, каких она тоже не помнила за собой.

Она подошла и опустилась на скамью рядом с ним, обессилив от хохота, вытирая пальцами уголки глаз.

— Ой, — выговорила она, всё ещё вздрагивая от смеха. — Ой, простите. Я давно так не смеялась. Я и не помню, когда так смеялась. — Она перевела дыхание и посмотрела на него, сияя. — Вы так хорошо сказали. А давайте попробуем. Правда. Закройте.

И тогда он откинулся на спинку скамьи, этот огромный человек в чёрном, глава города, дьявол, которого боялись до дрожи, — откинулся, устроился поудобнее и покорно закрыл глаза. И лицо его, с закрытыми глазами, стало вдруг совсем другим — спокойным, почти безмятежным, и Мила, глядя на него сбоку, увидела на секунду того мальчишку, каким он, наверное, был когда-то давно, до всего.

— Спрашивайте, — фыркнула она, снова заражаясь смехом.

— Скажи мне, Мила, — проговорил он серьёзно, не открывая глаз, точно вёл важный вопрос. — Понравилась ли тебе «Алые паруса»?

И Мила снова покатила со смеху, потому что он спросил это таким торжественным, важным голосом, а сам сидел с зажмуренными глазами, как ребёнок, играющий в прятки, и это было так нелепо, так неожиданно для него, такого страшного и большого, что удержаться было невозможно.

Аллея была пуста. Кипарисы стояли тёмной стеной, за ними синело море, и двое сидели на старой скамье под смолистым деревом: он с закрытыми глазами, она давилась смехом рядом. На эти несколько минут его город и её постриг отступили — вместе со всем, чем каждый из них был на самом деле. Остались только тень, смех и солнце в просветах хвои.

Он сидел так, с закрытыми глазами, слушал её смех — и не помнил, когда ему в последний раз было так тихо внутри. Бес молчал. Впервые за много дней не скрёбся, не рвался, не жёг. Сидел, притихнув, где-то на самом дне, и слушал вместе с ним, как смеётся эта девочка.

Он открыл глаза.

Открыл и посмотрел на неё, улыбнулся.

— А давай теперь поменяемся, — сказал он. — Теперь ты закрой глаза. А я тебя ещё кое о чём спрошу. Про книгу.

Мила засмеялась.

— Давайте поиграем, — сказала она и вдруг притихла, и в притихшем её голосе проступило что-то, от чего ему стало тепло. — Знаете... я буду играть, как маленькая. — Она смотрела на свои руки, сложенные на коленях. — Я ведь никогда не играла. Мне было нельзя. Всегда нужно было кому-то помогать, что-то делать, работать. Дети играли, а я носила воду. — Она подняла на него глаза, и в них не было жалобы, одно тихое удивление. — А сейчас у меня такое чувство, что я с вами играю. Первый раз.

Он смотрел на неё, и что-то тяжёлое поднималось у него в груди, чему он и сам удивлялся, — потому что он тоже не играл в детстве, потому что и у него отняли то же самое, только по-другому, за другим забором.

— Тогда будем друзьями, — сказал он.

Она подняла брови.

— Друзьями?

— Конечно. — Он повернулся к ней и протянул руку. — Человеческое общение всегда начинается с дружбы. Будешь со мной дружить?

Мила посмотрела на его ладонь.

Ладонь была огромная. Широкая, тяжёлая, с длинными сильными пальцами, с жёсткими костяшками, с тонким белым шрамом у основания большого. На безымянном пальце тускло темнел перстень — тяжёлый, старый, чёрный камень в потемневшем серебре, какого она никогда не видела. Ладонь человека, который держал в кулаке целый город, от одного движения которой люди опускали глаза. Она лежала перед ней раскрытой, и на ней могла бы уместиться вся Милина рука и ещё осталось бы место.

Мила протянула свою.

Медленно, робко, глядя ему в лицо, она вложила свою маленькую руку в его ладонь — и его пальцы сомкнулись, бережно, осторожно, приняв её ладошку, как принимают что-то живое и хрупкое, птицу, которую боишься сжать.

— Буду с вами дружить, — сказала она тихо.

И в ту секунду, когда её кожа коснулась его кожи, её обдало теплом.

Оно пошло от его ладони вверх, по руке, по всему телу, и это было не то тепло, что от солнца или от печи, а другое, живое, идущее от него самого, от его большой, тяжёлой, спокойной силы. Мила сидела, вложив руку в его ладонь, и ей казалось, что вокруг неё сомкнулось что-то, стена, укрытие, — что пока эта рука держит её руку, с ней ничего не может случиться, никогда, ни одна беда в мире до неё не дотянется. Она никогда не знала такого. Её никто никогда не защищал. А сейчас от одного прикосновения его ладони на неё сошёл этот покой, это чувство, что её оберегают, что она под чьим-то крылом, и глаза у неё снова защипало, и она сама не поняла, отчего.

А он держал её руку и смотрел на неё.

Глядя на эту маленькую руку в своей ладони, на это доверчивое лицо, поднятое к нему, он вдруг понял, что готов на всё. Что если бы сейчас кто-то — любой, кто угодно — просто посмотрел на неё не так, косо, дурно, он убил бы его не задумываясь, голыми руками, и не почувствовал бы ничего, кроме удовлетворения. Он держал в ладони чужую жизнь, хрупкую, светлую, доверенную ему, и понимал, что перевернёт мир, спалит его дотла, ляжет костями,

но не даст упасть с этой головы ни одному волосу. Впервые за тридцать пять лет он хотел не взять. Он хотел — сохранить.

Он не сказал этого. Он выпустил её руку.

— Ну вот, — проговорил он, и голос вышел чуть глуше обычного. — Теперь мы друзья. А друзья играют. Закрывай глаза.

Мила улыбнулась, вытерла тайком уголок глаза и послушно опустила веки. Села ровно, сложив руки на коленях, лицо подставив последнему солнцу, что пробивалось сквозь хвою, — покорная, доверчивая, с закрытыми глазами, ждущая его вопроса.

А он поднялся со скамьи.

Он сделал это бесшумно. Обошёл скамью сзади, встал у неё за спиной, наклонился — медленно, низко, так, что оказался у самого её плеча, у самой её шеи, у завитков волос над воротом. Он знал, что делает. Он делал это нарочно.

Он был уверен теперь. После этого утра, после её смеха, после её руки в своей ладони, после «эти ваши жёлтые глаза вызывают во мне странные чувства» — он знал наверняка, всем своим опытом, всем звериным чутьём мужчины, который читал женщин, как открытую книгу: постриг не для неё. В ней спит живая женщина. Она сама ещё не знает об этом, но он знал. И он хотел это разбудить.

Он наклонился к самому её уху — и сначала вдохнул.

Втянул в себя её запах, тот самый, которым он бредил неделями, — воск, ладан, чистая кожа, тепло волос, что-то невозможно светлое, чего в его жизни не было и быть не могло. Один вдох. Голова пошла кругом, бес шевельнулся глубоко внутри, но Дан держал его, держал крепко, потому что сейчас нужен был не бес. Сейчас нужен был он сам.

А потом он прошептал, тихо, у самого её уха, так, что губы почти коснулись мочки:

— Скажи мне, Мила...

Она вздрогнула.

Его шёпот, низкий, тёплый, вошёл ей в ухо, скользнул вниз по шее, по спине, и всё внутри у неё оборвалось. По коже прошла дрожь, крупная, от затылка до самых ступней, и где-то внизу живота, глубоко, в том месте, о котором она никогда не думала, о котором ничего не знала, вдруг заняло — сладко, тягуче, незнакомо, — и от этого ноющего тепла ей стало жарко и страшно. Она сидела с закрытыми глазами, не шевелясь, и сердце колотилось у самого горла, и она не понимала, что с ней творится, только чувствовала, как всё тело отзывается на этот шёпот, тянется к нему, ждёт.

— ...скажи мне честно, — выдохнул он ей в ухо, и в голосе была улыбка, тёмная и ласковая. — А ты хотела бы, чтобы за тобой приехал такой капитан?

Мила распахнула глаза.

Резко, разом, точно её окатили водой. Она обернулась к нему — он был так близко, его лицо в ладони от её лица, жёлтые глаза совсем рядом, — и что-то испуганное, гордое, упрямое вспыхнуло в её чёрных глазах.

— Я собираюсь в монастырь, — сказала она, и голос у неё дрожал, но слова были твёрдые. — Думать о капитанах — это не для меня.

И вскочила со скамьи.

И убежала — быстро, не оглядываясь, зажав в кулаке край сарафана, мелькая между тёмными стволами кипарисов, туда, к свету, к церкви, к своему привычному, безопасному миру, прочь от этой скамьи, от этого шёпота, от того, что он в ней разбудил.

Дан остался стоять.

Он смотрел ей вслед, как она убегает, маленькая, лёгкая, испуганная, и на губах у него медленно проступала улыбка. Он не двинулся её догонять. Он стоял под кипарисом и смотрел, пока она не скрылась за углом церкви, и качал головой.

— Ребёнок, — проговорил он тихо, сам себе. — Совсем ещё девчонка.

Он усмехнулся. Провёл ладонью по лицу, той самой, в которой минуту назад лежала её рука.

— Чистая. Невинная.

Он поднял глаза — вверх, к колокольне, которую строил для неё, к лесам, к рабочим, копошавшимся под самыми куполами, к недостроенной часовне, где она любила стоять и смотреть на лодки за мысом. Солнце било в кресты. Где-то стучали молотки. А он стоял один у скамьи, огромный, в чёрном, и на лице у него было выражение, какого не видел в этом городе ни один человек, — растерянное, беспомощное, почти счастливое.

— Как же я влип, — сказал он и коротко, тихо засмеялся. — По уши.

Глава 6. Перстень власти

Встреча была назначена в порту, в конторе судовой компании, что числилась за одним из должников и служила ему прикрытием уже много лет.

Дан приехал к полудню. День стоял белый, раскалённый, с моря не тянуло ни ветерка, и в тесной конторе, несмотря на распахнутые окна, было душно от нагретого железа, от табака, от испарины съехавшихся людей. За длинным столом сидел хозяин конторы, Здравко, грузный, потный, с той услужливой торопливостью в движениях, что появляется у человека, когда он крупно задолжал и знает, что пришли считаться. Рядом с ним, у стены, стоял его сын.

Мальчишке было лет четырнадцать. Тощий, вытянувшийся, с ломким подростковым кадыком, он стоял навывтяжку у отцовского плеча, и по тому, как он держался, было видно, что его привели нарочно — показать серьёзному человеку, что в доме растёт наследник, что дело будет кому передать, что Здравко не пустое место.

Дан сел. Марко встал за его плечом. Разговор пошёл ровно, тихо, без крика, как всегда шли эти разговоры, потому что Дану не нужно было повышать голос, чтобы его услышали. Здравко объяснял, сбивался, оправдывался, обещал вернуть к сроку, клялся здоровьем детей, и рука его то и дело тянулась к запотевшему стакану с водой, и вода расплёскивалась, так дрожали пальцы.

А потом что-то пошло не так.

Дан спросил про недостачу в накладных — спокойно, буднично, одной фразой. И мальчишка у стены, не сдержавшись, вставил слово. Ляпнул что-то в защиту отца, торопливо, звонко, с той горячей мальчишеской дурью, которая не знает, когда молчать. Заступился. И не успел он договорить, как Здравко развернулся всем телом и ударил сына по лицу.

Наотмашь. Тяжёлой мокрой ладонью, при всех, чтобы серьёзный человек видел: он держит своих в узде, у него порядок, у него не забалуешь.

Звук пощёчины хлестнул по тесной комнате.

И Дан оглох.

Он не услышал, что сказал дальше Здравко. Не увидел, как мальчишка вжал голову в плечи и часто заморгал, глотая обиду, чтобы не заплакать при чужих. Комната отодвинулась, звуки ушли под воду, и остался только этот звук — плоский, влажный удар ладони по детской щеке, — и он всё длился и длился в нём, отдаваясь где-то глубоко, в том месте, куда Дан за столько лет научился не спускаться.

Шрам на его правой брови натянулся и побелел.

Он сидел прямо, положив тяжёлые руки на стол, с неподвижным каменным лицом, и никто из бывших в конторе не догадался бы, что происходит с ним в эту минуту. Марко догадался. Он стоял за его плечом, увидел, как свело челюсть под щетиной, — и сразу понял: босса нет с ними, он ушёл туда, откуда возвращаются не сразу.

А Дан был уже не в порту.

* * *

Ему семь лет, и мать поёт.

Дом стоит на холме над старым городом, большой белый дом за высокой каменной оградой, с тяжёлыми коваными воротами, за которыми начинается владение помощника прокурора Драгомира Вукотича, и туда не входит чужой без зова. Внутри просторно, чисто, холодно. Дорогая тёмная мебель, натёртые полы, тяжёлые шторы, всегда наполовину задёрнутые, тишина, в которой слышно, как тикают часы в кабинете отца. В этом доме не бегают. В этом доме не шумят. В этом доме говорят вполголоса и ходят так, чтобы не скрипнула половица, потому что отец не терпит беспорядка ни в бумагах, ни в доме, ни в людях.

Но отца нет до вечера. А днём, когда его нет, дом оживает.

Наталья открывает шторы, выпускает солнце, и белые стены загораются светом, и в этом свете она кажется маленькому Данило самой красивой на земле. Она молодая, тонкая, с тёплыми руками и длинными волосами, и глаза у неё цвета виски — те самые, что Данило каждое утро видит в зеркале. Она садится с ним на широкий подоконник, залитый солнцем, обнимает, притягивает к себе и поёт вполголоса старую песню, которую пели ещё её бабки, — протяжную, на два голоса, про девушку, что ждёт у моря своего рыбака. Данило прижимается к её боку, к теплу, слушает, как гудит песня у неё в груди, и ему хорошо, спокойно, и он думает, что так будет всегда.

— Ты у меня хороший, — шепчет она ему в макушку, перебирая его тёмные волосы. — Слышишь? Что бы он ни говорил. Ты хороший, ты добрый, ты не такой. Помни это, мой мальчик. Всегда помни.

Данило не понимает до конца, о чём она. Он ещё не знает, каким его хочет видеть отец. Он только чувствует, что мать говорит это с тревогой, торопливо, стараясь вложить в него что-то важное, пока есть время, пока солнце ещё в окне и отца ещё нет за воротами.

А вечером возвращается отец, и солнце уходит из дома.

* * *

Драгомир Вукотич был человек, которого весь город знал и уважал.

Он служил закону. Он поднимался по этой службе неспешно и верно, ступень за ступенью, и уже тогда, помощником прокурора, о нём говорили как о будущей грозе, как о человеке кристальной честности, которого нельзя ни купить, ни согнуть. Он был красив тяжёлой, властной красотой, всегда безупречно одет, всегда спокоен, немногословен, и когда он входил в зал суда, там стихали. Его приглашали на приёмы, с ним искали дружбы, ему жали руку священники и градоначальники, и мать Данило под руку с ним появлялась на людях, красивая, тихая, и никто, глядя на эту прекрасную пару, не знал, что делается за высокой оградой их дома.

А за оградой был холод.

Отец не пил. Отец не буянил, не бил посуду, не орал на весь дом пьяным голосом. С таким было бы проще — пьяного можно переждать, пьяный отходит, пьяный наутро виноват. Драгомир был трезв всегда. Он наказывал расчётливо, на ясную голову, за дело — за пятно на скатерти, за громкий смех, за книгу, положенную не на ту полку, за слово, сказанное поперёк. Он не повышал голоса. Он говорил тихо, ровно, и от этого ровного голоса у Данило холодели внутренности сильнее, чем от любого крика.

— Подойди, — говорил отец, не отрываясь от бумаг. И Данило подходил, потому что не подойти было страшнее.

Он наказывал за то, что мать посмела заступиться. За то, что сын заплакал. За то, что в доме что-то жило и дышало помимо его воли. Он выправлял их, как выправлял свои бумаги, — методично, без гнева, приводя в порядок то, что осмелилось быть беспорядком. И мать принимала это на себя, вставала между отцом и сыном, отводила удар на себя, а ночью приходила к Данило в комнату, садилась на край постели и шептала ему в темноте всё то же, тихое, отчаянное:

— Ты не такой. Ты не будешь таким. Слышишь меня?

* * *

Ему одиннадцать, когда это случается.

Стоит осень, за окнами дождь, и в доме особенно тихо и сумрачно. Данило сидит в своей комнате над уроками — отец требует, чтобы уроки были сделаны до его прихода, безупречно, без единой пометки. Он слышит, как внизу открывается дверь, как отец возвращается, и всё в нём сжимается привычно, и он прислушивается, по звуку шагов пытаясь угадать, какой сегодня будет вечер.

Потом он слышит голоса. Отец и мать. Сначала тихо, потом громче. Он не разбирает слов, только тон — ровный, чеканящий голос отца и голос матери, в котором дрожит что-то, чего Данило прежде в нём не слышал. Не покорность. Решимость.

Он выходит на лестницу.

Он видит их внизу, в гостиной. Мать стоит у стены, выпрямившись, и лицо у неё белое, и она говорит отцу что-то, глядя ему прямо в глаза, — впервые на памяти Данило она смотрит отцу прямо в глаза и не опускает их. А отец стоит перед ней, спокойный, и в этом спокойствии копится то, от чего Данило кидается вниз по лестнице, перескакивая ступени, ещё не зная, что будет делать, зная только, что мать нельзя оставить там одну.

Он видит, как отец заносит руку.

И он бросается между ними. Маленький, худой, он втискивается между отцом и матерью, спиной к матери, лицом к отцу, раскинув руки, закрывая её собой, и кричит что-то, сам не слыша что.

Рука отца опускается.

Она была занесена на мать, и она опускается на то, что оказалось на пути, — на мальчика. Тяжёлый перстень-печатка, который отец носил на правой руке, знак его должности, его достоинства, приходится Данило углом по лицу, рассекает бровь, и мир вспыхивает белым, и в ушах звенит, и он падает на натёртый пол гостиной, и тёплое течёт по лицу, заливая глаз.

Кровь.

Он лежит на полу и не плачет. Он смотрит снизу вверх одним незалитым глазом на отца, и отец смотрит на него сверху, и лицо отца не меняется — оно спокойно, оно почти удивлено этой заминкой, этим непорядком, этой кровью на его чистом полу.

— Встань, — говорит отец тихо. — И умойся. Ты позоришь этот дом даже тем, как ты падаешь.

А потом мать вскрикивает — коротко, страшно — и падает на колени рядом с сыном, хватая его, прижимает окровавленную голову к груди, к себе, и Данило слышит, как колотится её сердце у самого его виска, и она раскачивается над ним и повторяет его имя, его имя, его имя.

Это последнее, что он помнит о ней ясно. Её сердце над раной. Её руки.

* * *

Через несколько дней мать исчезла.

Данило проснулся утром, и её не было в доме. Не было её вещей, её гребня со столика, её тёплого запаха в комнатах. Дом стоял тихий и пустой, ещё тише, чем всегда, и слуги отводили глаза и молчали, и никто не сказал мальчику ни слова, пока вечером его не позвал к себе отец.

Отец сидел в кабинете, за столом, под лампой, среди своих бумаг. Он не поднял глаз, когда Данило вошёл. Бровь мальчика была заклеена, под ней наливался чёрным кровоподтёк, и он стоял на пороге отцовского кабинета, маленький, и ждал.

— Твоя мать нас оставила, — сказал отец ровно, перелистывая бумагу. — Ушла к другому мужчине. Бросила тебя. Бросила меня. — Он обмакнул перо. — Она оказалась дрянью, каких свет не видел. Слабой, грязной, неверной. Забудь её. У тебя нет больше матери. И если ты хоть раз произнесёшь в этом доме её имя, ты пожалеешь.

Данило стоял и слушал, и что-то в нём обрывалось, ниточка за ниточкой, тихо, без звука.

Мать ушла. Мать, которая пела ему на подоконнике, которая закрывала его собой, которая шептала ему ночами, что он хороший, — эта мать бросила его здесь, в этом холодном доме, наедине с этим человеком, и ушла к кому-то другому, кто был ей дороже, чем родной сын. Значит, всё, что она шептала, было неправдой. Значит, любви нет. Значит, самый близкий, самый тёплый человек на свете предаёт и уходит, и верить нельзя никому.

Он поверил отцу. Ему было одиннадцать, и у него не было причин не верить, и некому было сказать ему другое. С этого вечера он усвоил главный урок своей жизни: тех, кого любишь, теряешь. Тепло — обман. Останешься один.

Он не заплакал. Он уже понял, что в этом доме слёзы — это беспорядок, а беспорядок наказуем.

* * *

Он ушёл через несколько дней.

Он не смог. Не смог просыпаться в доме, где больше не пели, где не открывались по утрам шторы, где отец за ужином смотрел сквозь него ровным холодным взглядом, приводя сына в порядок одним своим присутствием. Однажды ночью Данило встал, оделся, не взял ничего — ни денег, ни вещей, ничего из этого чистого богатого дома, который был ему ненавистен, — и вышел за высокие кованые ворота, и пошёл вниз, в старый город, в темноту, к морю.

Ему было одиннадцать лет, свежий рубец горел на брови, и он шёл, не оглядываясь на белый дом на холме, и не знал ещё, что впереди три дня голода и подворотен, а потом — чужой переулочек, здоровый мужик, трясущий за шиворот тощего пацана, и камень, который сам ляжет ему в ладонь.

А город узнал другое.

Драгомир Вукотич не мог допустить, чтобы по городу пошёл слух, что жена помощника прокурора сбежала от него с любовником. Такое пятно не смывается, такое липнет к имени, к должности, к будущей его карьере. И потому наружу, для людей, он пустил иную весть — что жена его умерла. Скоропостижно, от болезни. Молодой безутешный вдовец, оставшийся с сыном на руках. Город поверил и посочувствовал, и это даже прибавило ему веса — человек чести, переживший горе и не сломленный. На похоронах, которых не было, никто не был. Могилу, к которой некого было класть, не искали.

А годы спустя, когда Данило уже прижился у дяди, когда острая рана затянулась и он однажды, набравшись духу, спросил про мать, — Драган посмотрел на него долгим тяжёлым взглядом и сказал то же самое.

— Умерла, мой мальчик. Давно. Ещё тогда. Не бери.

И Данило перестал спрашивать. Он был мальчишкой, он верил тем, кто его любил, а дядя его любил, и не было в мире причины не верить дяде. Отцовское «ушла к другому» и дядино «умерла» слились в нём в одно, и, может быть, ему даже легче стало от второго: мёртвая мать не предавала его. Мёртвую можно было тихо оплакать, а не ненавидеть. И к тридцати пяти годам Дан жил с тем, что матери давно нет на свете, что она ушла из мира, когда он был ребёнком, и что горевать по ней поздно и незачем.

* * *

— Босс.

Голос Марко пробился сквозь воду.

— Дан. — Тише, только для него, у самого плеча. — Всё сделано. Едем.

Дан очнулся.

Контора, порт, духота, потный Здравко напротив, мальчишка у стены с красным пятном на щеке. Всё стояло на своих местах, как он оставил, ушла всего минута, а он успел прожить в ней полжизни. Он опустил глаза на свои руки, лежащие на столе. Пальцы вдавились в столешницу. Он разжал их.

Он поднялся. Здравко вскочил следом, залебезил, но Дан уже не слушал. Он посмотрел на мальчишку у стены, на его горящую щёку, на его глаза, в которых стояли непролитые слёзы и злая, стыдная обида, — и по каменному лицу Дана быстро прошла тень.

— Он заступился за отца, — сказал Дан тихо, ни к кому. И, повернувшись к Здравко, ровным своим голосом, от которого толстяк замер: — Ещё раз при мне поднимешь на него руку — будешь должен уже мне. И платить будешь не деньгами.

Здравко захлопал глазами, не понимая. Никто не понял. Дан не стал объяснять. Он вышел из конторы на воздух, к воде, и Марко за ним.

* * *

Солнце било по маслянистой воде порта, слепило. Дан достал сигарету, закурил не сразу — щёлкнул зажигалкой два раза, руки слушались плохо. Марко стоял рядом, молчал. Он видел за годы много чужих состояний своего друга, но это, с побелевшим шрамом и провалом посреди разговора, видел редко, и знал, что спрашивать нельзя.

Дан затянулся. Выдохнул дым в белое небо.

И поймал себя на странном.

Ему было плохо — старой, глубокой болью, поднятой со дна одним звуком чужой пощёчины. И раньше, всегда, с этой болью он делал одно: глушил. Таблетками, виски, работой, Евой, чужим телом, чем угодно, лишь бы завалить эту яму, забетонировать, не смотреть в неё. Он и сейчас знал, что нужно сделать. Позвонить доку. Заехать к Еве. Влить в себя вечер, чтобы к ночи не помнить.

А хотелось другого. Ему хотелось рассказать.

Ей. Миле. Сесть рядом с ней на ту детскую скамеечку под кипарисом, закрыть глаза, как они играли, и тихо, впервые в жизни вслух, рассказать про белый дом на холме, про мать, которая пела на подоконнике, про перстень, рассёкший бровь, про ночь, когда он вышел за ворота. Рассказать той единственной, которая слушала бы и не испугалась, потому что она сама выросла на такой же боли и умела её слышать.

Он прикурил у чёрной воды. На безымянном пальце глухо блеснул перстень — чёрный агат в потемневшем серебре, он не снимал его уже много лет. У отца перстень был другой: золотой, огромный, тот самый, что когда-то рассёк ему бровь. И власть у них была разная — у прокурора золото и закон, у него чёрный камень и всё, что по ту сторону закона. Но означала она одно. Только у каждого своя.

Он стоял и понимал, что это значит. По спине прошёл холод — не от старой боли, а от того, как сильно его туда тянуло. Она вошла слишком глубоко. Так глубоко, что он захотел показать ей самое дно, ту рану, которую не показывал никому за тридцать пять лет, даже Марко, даже дяде. Он хотел отдать ей то, что прятал ото всех.

И ещё одно.

Он вдруг понял, что весь флешбэк видел лицо матери. Целиком. Её глаза, её волосы, солнце на её щеке. А ведь он не мог. Годами не мог. Он давно перестал пытаться вспомнить это лицо, потому что там, где оно должно было быть, оставалось пустое, стёртое место, и каждая попытка отзывалась тёмной болью. Он похоронил это лицо, чтобы не болело.

А сегодня оно вернулось. Ясное, живое, поющее.

Он не знал, как это связано. Не умел объяснить. Но с той самой недели, как в его жизнь вошла девочка с ягнёнком, в нём начало оттаивать то, что он столько лет держал во льду, — и вместе со светом оттаивала и боль, и мёртвое лицо матери проступало из небытия, и всё это шло за ней, за Милой, за её смехом на старой скамье.

Рядом с ней в нём оживало даже то, что он давно похоронил.

— Марко, — сказал он глухо, глядя на воду. — Отец мой ещё прокурор?

Марко удивлённо поднял на него глаза. Дан не заговаривал об отце годами. Имя Драгомира Вукотича не звучало между ними, точно его и не существовало.

— Прокурор, — осторожно ответил Марко. — Куда он денется. Самый главный теперь. Гроза города. — Он помолчал. — А ты чего вдруг?

Дан не ответил. Он докурил, бросил окурочек в чёрную воду и смотрел, как он гаснет.

— Поехали, — сказал он наконец. — Домой.

И, садясь в машину, сказал тихо, себе, не Марко:

— Скорей бы она дочитала книгу.

Глава 7. Фотография

Домой вернулись затемно.

В большом доме на холме их ждал накрытый стол — горячее мясо, вино, хлеб, всё, как Дан любил после долгого дня, молча и много. Он ел, не чувствуя вкуса. Марко сидел напротив, тоже ел, поглядывал на друга и не лез с разговорами, потому что видел: босс не отошёл ещё от того, что подняло в нём утро в порту. Шрам на брови у Дана давно отпустил, побледнел до обычного, но глаза оставались тяжёлыми, и он смотрел в тарелку, а видел что-то своё.

И тут зазвонил телефон Марко.

Марко глянул на экран, поднялся из-за стола, вышел на террасу. Говорил недолго, вполголоса, и Дан слышал сквозь открытую дверь только обрывки — «понял», «передам», «сам решит». Потом Марко вернулся, сел, но есть не стал. Побарабанил пальцами по столу.

— Звонили от Ковача, — сказал он. — Из Херцег-Нови.

Дан не поднял глаз.

— И?

— У старого Ковача юбилей. Шестьдесят пять. Собирает всех, кто хоть что-то значит на побережье. — Марко помолчал. — Тебя ждут особо, Дан. Ковач сам просил передать. Ты понимаешь, что это значит. Если не приедешь — обида. А обида от Ковача нам сейчас ни к чему, у нас с ними по порту всё завязано.

— Приеду, — сказал Дан ровно. — Что тут думать.

— Тут есть что думать. — Марко подался вперёд. — Это не сходка в порту. Это приём. Жёны, дочери, музыка, все при параде. Туда не приезжают одни, брат. Одинокий мужчина на таком приёме — это как пустой стул за столом, все смотрят и гадают. Тебе нужна женщина рядом. С женщиной ты другой — при женщине с тобой заговорят иначе, мягче, по-семейному. Так дела и делаются на таких приёмах, ты сам знаешь. Возьми кого-нибудь.

Дан усмехнулся невесело.

— Кого я туда возьму.

— Я думаю, — сказал Марко осторожно, — кроме Евы, с этим никто не справится. Она умеет держаться в таком обществе. Она там будет как рыба в воде. И тебя подаст как надо.

— Еву. — Дан хмыкнул, потёр лицо ладонью. — Ну да. Милу я туда явно не повезу. В эту грязь.

Марко фыркнул, потом не выдержал и рассмеялся, качая головой.

— Ну ты умеешь ляпнуть, брат, — сказал он. — Про монашку на бандитском юбилее. Ты сам-то себя слышишь?

Дан не улыбнулся. Он отодвинул тарелку — грубо, тыльной стороной ладони, так что приборы звякнули и вилка съехала на скатерть, — вытащил телефон, нашёл номер и нажал вызов. Поднёс к уху. Марко замолчал.

Гудок. Другой.

— Это я, — сказал Дан, не здороваясь. Голос ровный, скучающий. Он послушал секунду то, что она говорила на том конце — что-то тёплое, обрадованное, — и оборвал: — Я буду завтра в шесть. Нам нужно ехать на приём. Оденься так, чтобы выглядеть как моя женщина.

И повесил трубку прежде, чем она успела ответить.

* * *

Назавтра в шесть он заехал за ней.

Марко был за рулём, Дан сзади. Дверь её дома открылась, и Ева вышла — и даже Марко, повидавший на своём веку всякое, на секунду задержал на ней взгляд в зеркале.

Ей было пятьдесят пять. И не было ни одного из этих лет. Тёмное платье слушалось её тела, как слушалось всё, чего она касалась, — открытые плечи, длинная линия шеи, глубокий

вырез на спине. Тяжёлые тёмные волосы забраны наверх, открывая эту шею, эти ключицы. Серьги роняли на кожу дрожащий свет. Она шла к машине неспешно, зная, что на неё смотрят, и от неё исходило то, чего не выразишь словом и не купишь молодостью, — спокойная, тёмная, уверенная сила женщины, которая знает про желание всё и не тратит на него лишнего слова. От неё било этим через стекло, через воздух, гуще любых духов. Соблазн высшей пробы.

Она села на заднее сиденье, рядом с ним, внесла с собой запах, и машина сразу стала теснее.

Дан оглядел её — медленно, с головы до открытых колен.

— Прекрасно выглядишь, — сказал он.

Ева усмехнулась уголком губ.

— Ты меня даже не поцелуешь?

— Не хочу портить тебе макияж. — Он отвернулся к окну.

Она тихо засмеялась, откинулась на спинку, положила ногу на ногу.

— Ну хорошо, — проговорила она, глядя на его резкий профиль. — Значит, всё остальное потом.

Машина тронулась.

* * *

Приём был в старом каменном палаццо над самой водой, из тех, что строили ещё венецианцы, — с террасами, спускающимися к морю, с фонарями в кронах олив, с длинными столами под белыми навесами. Съехалось всё побережье. Люди в дорогом, женщины в шелках, тихая музыка, официанты с подносами, и под всей этой позолотой, под смехом и звоном бокалов — то, ради чего собрались: кто с кем, кто против кого, кто поднялся, кто остуился, чьё слово теперь весит больше.

Дан вошёл, и по террасам прошло движение.

Его знали здесь все. Люди оборачивались, склоняли головы, тянулись пожать руку, и он шёл сквозь эту толпу спокойно, с Евой под руку, и она вела свою партию безупречно — улыбалась ровно тем, кому следовало, роняла слово хозяйке дома, смеялась над шуткой старого Ковача так, что тот расцветал и хлопал Дана по плечу, называл счастливчиком. Рядом с ней Дан и вправду смотрелся иначе — не одинокий хищник, от которого стынет воздух, а мужчина при красивой женщине, с которым можно говорить по-человечески. Дела делались сами собой, между тостами: тут кивок, там короткий разговор в стороне, обещание, рукопожатие. Ковач за столом поднял за Дана отдельный тост, и это видели все, и это стоило дороже любого договора — старик публично признал его своим.

Ева держала его локоть, смеялась, блистала — и одна знала, чего ей стоит эта лёгкость, потому что весь вечер он был не с ней. Он был вежлив, он был рядом, но там, за янтарём его глаз, жил кто-то другой, кого она не знала и к кому её не пускали.

К полуночи стали разъезжаться. Дан простился с хозяином, и Ковач на прощание сжал ему руку двумя ладонями, и это тоже видели.

* * *

Обратно ехали по тёмной прибрежной дороге. Море лежало внизу чёрное, в редких огнях, фары выхватывали из темноты повороты, оливы, старые каменные стены.

Ева сидела близко, положив ладонь ему на бедро. Вино, музыка, долгий вечер её игры на публику — всё это теперь искало выхода. Ладонь поползла выше, медленно, по внутренней стороне бедра, и легла там, где уже было туго и горячо, сжала через ткань — уверенно, без спроса. Она приникла губами к его шее, под самое ухо, и он почувствовал её улыбку кожей.

Бес в нём отозвался мгновенно. Кровь ударила вниз, под её ладонь, член налился до боли, дёрнулся ей навстречу. Челюсть свело, и низкий гортанный звук вышел сам, помимо воли. Он развёл колени шире, впуская её руку, и подался бёдрами вверх, в её ладонь, требуя.

— Мы поедem к тебе или ко мне? — выдохнула она ему в ухо, не убирая руки.

Дан поднял глаза. В зеркале встретился со взглядом Марко — на одно короткое мужское мгновение, без единого слова, — и Марко тут же перевёл взгляд на дорогу. Дан накрыл её руку своей и вжал в себя сильнее.

— Ко мне, — сказал он.

Марко на переднем сиденье молча свернул на дорогу к холму.

* * *

В доме было темно и пусто, как всегда.

Он вошёл первым, на ходу стягивая пиджак, бросил его на спинку кресла. Устал. Вечер вытянул из него больше, чем любая сходка в порту, — там он был собой, а здесь весь вечер играл роль человека, которым не был. Он стоял посреди тёмной спальни, расстёгивая запонки, и думал уже не о ней.

Ева подошла сзади.

Обняла его со спины, прижалась щекой к лопаткам, обвила руками грудь.

— Я так по тебе соскучилась, — выдохнула она ему между лопаток. — Тебя целую неделю не было. Целую неделю, Дан.

И стала целовать его сзади в шею, в основание, там, где кончались волосы, — медленно, губами, тёплым дыханием, зная это его место, зная его всё за два года наизусть.

И он размяк.

Так размякает всякий мужчина под руками женщины, которая знает, что делает, — усталость, тяжесть вечера, старая боль, поднятая в порту, всё поплыло, отступило под этими губами на шее. Он выдохнул. Закрыв глаза. Повернулся к ней.

Он посмотрел на неё в темноте — на открытые плечи, на растрепавшиеся от долгого вечера пряди, на приоткрытые губы, — и сказал глухо, честно:

— А ты сегодня и вправду красивая.

Она потянулась к нему вся, обхватила его лицо ладонями, впилась в губы, и он подхватил её и опрокинул на кровать. Одежда полетела на пол — его пиджак, её платье, тонкое кружево, — и он развёл её колени и вошёл сразу, до конца, одним движением.

— Весь вечер я этого хотел, — выговорил он ей в губы, замерев в ней. — Просто трахнуть тебя.

— Я ещё в машине хотела отсосать тебе, Дан. — Ева притянула его за затылок, прикусила ему нижнюю губу. — Прямо там. Марко вечно мешает.

Он застонал, низко, сквозь зубы, прихватил зубами её сосок, потянул, и Ева ахнула, выгнулась ему навстречу.

Дальше слов не осталось. Он двигался в ней — глубоко, тяжело, злее и жаднее с каждым разом, пока изголовье не застучало о стену, пока пот не выступил на спине, пока оба не потеряли счёт себе. Ева встречала каждое его движение, царапала, тянула на себя, ловила ртом воздух и снова искала его губы.

А потом она сделала то, что умела только она. Свела ноги у него на спине, приподняла таз, поймала его глубже некуда — и сжала. Медленно, мышцами, туго, выверенно, стискивая его внутри так, что у него потемнело в глазах. Стало почти дурно от того, как хорошо. Это его добило.

— Блядь, Ева... — вырвалось сквозь зубы. — Да... да...

И его сорвало — глубоко, до дна, длинно, пока он не отдал ей всё. Ева кончила следом — от того, как он бился в ней, как изливался, — забилась под ним, впилась ногтями ему в спину, и крик её захлебнулся у него на плече.

Потом они лежали в темноте, и Дан поднялся первым. Как всегда.

Голый прошёл через тёмную спальню, толкнул дверь ванной, и через минуту оттуда ударила вода.

Ева осталась лежать. Отдышалась, откинула волосы с влажного лба, полежала ещё, слушая шум душа за стеной, и на губах у неё была та ленивая, довольная усмешка женщины, которая всё ещё умеет. Потом встала. Тёмное платье валялось на полу, она подхватила его, накинула на плечи, подошла к зеркалу — поправить размазанную помаду, собрать рассыпавшиеся волосы, вернуть себе лицо.

У зеркала стоял старый трельяж тёмного дерева, с боковыми створками, с узкими ящичками. Ева машинально, поправляя серьгу, потянула на себя одну дверцу.

Внутри, среди какой-то мужской мелочи — запонок, часов, сложенных бумаг, — лежала фотография. Лицом вниз. Старая, потёртая по краям, из тех, что печатали давно.

Ева, сама не зная зачем, взяла её и перевернула.

И мир качнулся.

С выцветшего снимка на неё смотрела молодая женщина. Глаза цвета виски, длинные волосы, тонкое лицо, и на руках у неё, прижавшись к ней, — мальчик лет одиннадцати, темноволосый, серьёзный, с тяжёлым не по возрасту взглядом. И глаза у него были её — того же редкого цвета виски. Женщина обнимала его, склонив голову к его голове, и оба смотрели в объектив, и в лице женщины было столько тихого, обречённого света, что Ева похолодела раньше, чем поняла отчего.

Она знала это лицо.

Она знала его давно, в прошлой жизни. Молодое, живое, смеющееся над её шутками за чашкой кофе, шепчущее ей секреты, плачущее у неё на плече в ту последнюю их встречу. Наталья. Её Наталья. Подруга, которую она предала своим молчанием и своим бегством и которую оплакивала все эти годы, не смея вернуться.

Руки у Евы затряслись.

Фотография ходила ходуном в её пальцах, и она вцепилась в неё второй рукой, и не могла оторвать глаз от женского лица, а потом взгляд её сполз ниже, на мальчика в её руках, на его тёмные волосы, на его серьёзные глаза, — и она стала считать, лихорадочно, беззвучно, шевеля губами. Возраст. Годы. Тогда — и теперь.

И глаза. Как она сразу не увидела? Этот редкий цвет — виски на свету — она встречала за всю жизнь только у двоих: у Натальи, тогда, и у него, теперь. Два года она смотрела в эти глаза вблизи, в темноте, целовала веки — и не узнала. Материнские глаза на лице сына, вот они, всё это время, — а она не поняла.

— Нет, — прошептала она. Губы не слушались. — Нет, нет. Не может быть. Этого не может быть.

Её колотило всю, от макушки до пят, платье сползло с плеча, и она не заметила, и стояла перед зеркалом, белая, с чужой старой фотографией в трясущихся руках, и в зеркале за её плечом отражалась пустая тёмная комната.

Вода за стеной смолкла.

Она не услышала. Она смотрела на снимок.

Дверь ванной открылась. Дан вышел, обмотанный полотенцем по бёдрам, с мокрых волос текло, и он не сразу увидел её. А увидев, ЧТО у неё в руках, застыл.

Лицо его переменялось разом. Всё мягкое, что оставила в нём ночь, слетело. Глаза сузились, и он пошёл на неё через комнату, большой, мокрый, страшный.

— С каких пор, — проговорил он тихо, и от этой тихости у Евы похолодело внутри, — ты роешься в моих вещах.

Он выдернул фотографию у неё из пальцев. Грубо, одним движением. Бросил обратно в трельяж, захлопнул дверцу так, что звякнуло стекло.

Ева смотрела на него снизу вверх, и её всё ещё трясло, и голос её, всегда ровный, всегда взрослый, ей изменил:

— Кто это был на фотографии?

— Не твоё дело.

— Дан. — Она схватила его за руку, вцепилась. — Кто это. Эта женщина. Скажи мне.

Он посмотрел на неё сверху, на её белое лицо, на этот незнакомый ему испуг, и что-то в её настойчивости заставило его ответить.

— Моя мать, — сказал он коротко. — Это моя мать.

Ева перестала дышать.

— Как — твоя мать, — выговорила она одними губами. — Это... это твоя мать?

— Да. — Он отвернулся. — А теперь хватит.

— А где она? — Ева шагнула за ним, и голос её дрожал, ломался. — Дан. Где она сейчас?

Где твоя мать?

Он остановился. Провёл рукой по мокрым волосам.

— Умерла, — сказал он ровно, глухо, не оборачиваясь. — Много лет назад. Когда я был ребёнком. — И, помолчав, тем же ровным, ледяным голосом, которым закрывал любой разговор: — Собирайся. Тебе пора. Ты знаешь, я не люблю, когда ты остаёшься у меня на ночь. Марко тебя отвезёт.

* * *

Марко довёз её молча.

Ева сидела на заднем сиденье той же машины, в том же платье, в котором два часа назад блистала на приёме, и смотрела в чёрное окно, за которым уходила назад ночная дорога, море, огни. Руки она сжала на коленях, чтобы не видно было, как они трясутся. Марко поглядывал на неё в зеркало, но не спрашивал ничего — не его дело.

А внутри у неё рушилось всё.

Наталья. Его мать. Тот мальчик с фотографии, серьёзный, темноволосый, лет одиннадцати, — это он. Это Дан. Данило её Натальи. Она считала и пересчитывала, и всё сходилось, всё било в одну точку, и от этой точки её мутило. Мальчик, которого Наталья когда-то держала на руках, мальчик, о котором подруга плакала ей в плечо, — вырос. Стал мужчиной. Стал этим мужчиной. Тем, к кому она приходила два года. Тем, кого она целовала столько лет. Тем, под кем задыхалась в темноте только что, не зная, не подозревая, чьё это тело, чья это кровь.

Она спала с сыном Натальи.

Она, которая когда-то держала этого мальчика на коленях, качала его, приносила ему сладости, звала «маленький мой», — она легла с ним в постель, как с любым другим, и брала от него то, что брала, два года, и называла это своей одержимостью, своей тайной, не зная, что тайна эта чудовищнее всего, что она могла вообразить.

«Умерла, — сказал он. — Много лет назад».

Он не знает. Он верит, что мать умерла. А Ева знала другое — знала то, что случилось на самом деле в ту давнюю ночь, знала, отчего исчезла Наталья, знала, кто и как её убрал, и молчала об этом четверть века, спасая свою шкуру, и вот теперь это молчание сомкнулось вокруг неё петлёй, и в петле этой оказался её собственный любовник — сын той, которую она предала.

Ева закрыла лицо руками.

И заплакала — беззвучно, страшно, впервые за много лет, в чужой машине, на заднем сиденье, а Марко смотрел на дорогу и делал вид, что не слышит.

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.